



Юрий Карлович Олеша Зависть (сборник)

*Текст предоставлен издательством
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=163677
Зависть: Роман. Рассказы. Статьи: Эксмо; М.:; 2008
ISBN 978-5-699-16254-3*

Аннотация

Юрия Карловича Олешу (1899–1960) в кругу писателей-современников называли «королем метафор». Олеша не умел писать «темно и вяло», длинно и скучно, его проза искрится блестящими образами и афоризмами, чуть ли не каждый абзац по емкости и законченности равноценен новелле.

Роман «Зависть» (1927) – вершина творчества Олеша и, несомненно, одна из вершин русской литературы XX века. В сборник вошли также рассказы Юрия Олеша и книга «Ни дня без строчки» – дневниковые записи, являющиеся, по сути, тонкой и глубокой эссеистикой изощренного стилиста и чуткого человека.

Содержание

Зависть	4
I	4
II	6
III	8
IV	10
V	12
VI	14
VII	17
VIII	19
IX	22
X	24
XI	26
XII	30
XIII	32
XIV	34
XV	36
I	38
II	42
III	45
IV	49
V	53
VI	55
VII	62
VIII	65
IX	68
X	71
XI	73
XII	75
РАССКАЗЫ	76
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ	76
ЦЕПЬ	79
ВИШНЕВАЯ КОСТОЧКА	83
ЛИОМПА	89
Конец ознакомительного фрагмента.	91

Юрий Карлович Олеша

Зависть (сборник)

Зависть

I

Он поет по утрам в клозете. Можете представить себе, какой это жизнерадостный, здоровый человек. Желание петь возникает в нем рефлекторно. Эти песни его, в которых нет ни мелодии, ни слов, а есть только одно «та-ра-ра», выкрикиваемое им на разные лады, можно толковать так:

«Как мне приятно жить... та-ра! та-ра!.. Мой кишечник упруг... ра-та-та-та-ра-ри... Правильно движутся во мне соки... ра-та-та-ду-та-та... Сокращайся, кишка, сокращайся... трам-ба-ба-бум!»

Когда утром он из спальни проходит мимо меня (я притворяюсь спящим) в дверь, ведущую в недра квартиры, в уборную, мое воображение уносится за ним. Я слышу сутолоку в кабинке уборной, где узко его крупному телу. Его спина трется по внутренней стороне захлопнувшейся двери, и локти тыкаются в стенки, он перебирает ногами. В дверь уборной вделано матовое овальное стекло. Он поворачивает выключатель, овал освещается изнутри и становится прекрасным, цвета опала, яйцом. Мысленным взором я вижу это яйцо, висящее в темноте коридора.

В нем весу шесть пудов. Недавно, сходя где-то по лестнице, он заметил, как в такт шагам у него трясутся груди. Поэтому он решил прибавить новую серию гимнастических упражнений.

Это образцовая мужская особь.

Обычно занимается он гимнастикой не у себя в спальне, а в той неопределенного назначения комнате, где помещаюсь я. Здесь просторней, воздушней, больше света, сияния. В открытую дверь балкона льется прохлада. Кроме того, здесь умывальник. Из спальни переносится циновка. Он гол до пояса, в трикотажных кальсонах, застегнутых на одну пуговицу посередине живота. Голубой и розовый мир комнаты ходит кругом в перламутровом объективе пуговицы. Когда он ложится на циновку спиной и начинает поднимать поочередно ноги, пуговица не выдерживает. Открывается пах. Пах его великолепен. Нежная подпалина. Заповедный уголок. Пах производителя. Вот такой же замшевой матовости пах видел я у антилопы-самца. Девушек, секретарш и конторщиц его, должно быть, пронизывают любовные токи от одного его взгляда.

Он моется, как мальчик, дудит, приплясывает, фыркает, испускает вопли. Воду он захватывает пригоршнями и, не донося до подмышек, расшлепывает по циновке. Вода на соломе рассыпается полными, чистыми каплями. Пена, падая в таз, закипает, как блин. Иногда мыло ослепляет его, – он, чертыхаясь, раздирает большими пальцами веки. Полощет горло он с клетотом. Под балконом останавливаются люди и задирают головы.

Розовейшее, тишайшее утро. Весна в разгаре. На всех подоконниках стоят цветочные ящики. Сквозь щели их просачивается киноварь очередного цветения.

(Меня не любят вещи. Мебель норовит подставить мне ножку. Какой-то лакированный угол однажды буквально укусил меня. С одеялом у меня всегда сложные взаимоотношения. Суп, поданный мне, никогда не остывает. Если какая-нибудь дрянь – монета или запонка –

падает со стола, то обычно закатывается она под трудно отодвигаемую мебель. Я ползаю по полу и, поднимая голову, вижу, как буфет смеется.)

Синие лямки подтяжек висят по бокам. Он идет в спальню, находит на стуле пенсне, надевает его перед зеркалом и возвращается в мою комнату. Здесь, стоя посередине, он поднимает лямки подтяжек, обе разом, таким движением, точно взваливает на плечи кладь. Со мной не говорит он ни слова. Я притворяюсь спящим. В металлических пластинках подтяжек солнце концентрируется двумя жгучими пучками. (Вещи его любят.)

Ему не надо причесываться и приводить в порядок бороду и усы. Голова у него низко острижена, усы короткие – под самым носом. Он похож на большого мальчика-толстяка.

Он взял флакон; щелбнула стеклянная пробка. Он вылил одеколон на ладонь и провел ладонью по шару головы – от лба к затылку и обратно.

Утром он пьет два стакана холодного молока: достает из буфета кувшинчик, наливает и пьет, не садясь.

Первое впечатление от него ошеломило меня. Я не мог допустить, предположить. Он стоял передо мной в элегантном сером костюме, пахнущий одеколоном. Губы у него были свежие, слегка выпяченные. Он, оказалось, щеголь.

Очень часто ночью я просыпаюсь от его храпа. Осовелый, я не понимаю, в чем дело. Как будто кто-то с угрозой произносит одно и то же: «Кракатоу... Крра... ка... тоууу...»

Прекрасную квартиру предоставили ему. Какая ваза стоит у дверей балкона на лакированной подставке! Тончайшего фарфора ваза, округлая, высокая, просвечивающая нежной кровеносной краснотой. Она напоминает фламинго. Квартира на третьем этаже. Балкон висит в легком пространстве. Широкая загородная улица похожа на шоссе. Напротив внизу – сад: тяжелый, типичный для окраинных мест Москвы, деревьястый сад, беспорядочное сборище, выросшее на пустыре между трех стен, как в печи.

Он обжора. Обедает он вне дома. Вчера вечером вернулся он голодный, решил закусь. Ничего не нашлось в буфете. Он спустился вниз (на углу магазин) и притащил целую кучу: двести пятьдесят граммов ветчины, банку шпротов, скумбрию в консервах, большой батон, голландского сыру доброе полулуние, четыре яблока, десяток яиц и мармелад «Персидский горошек». Была заказана яичница и чай (кухня в доме общая, обслуживают две кухарки в очередь).

– Лопайте, Кавалеров, – пригласил он меня и сам навалился. Яичницу он ел со сковороды, откалывая куски белка, как облупливают эмаль. Глаза его налились кровью, он снимал и надевал пенсне, чавкал, сопел, у него двигались уши.

Я развлекаюсь наблюдениями. Обращали ли вы внимание на то, что соль спадает с кончика ножа, не оставляя никаких следов, – нож блещет, как нетронутый; что пенсне переезжает переносицу, как велосипед; что человека окружают маленькие надписи, разбредшийся муравейник маленьких надписей: на вилках, ложках, тарелках, оправе пенсне, пуговицах, карандашах? Никто не замечает их. Они ведут борьбу за существование. Переходят из вида в вид, вплоть до громадных вывесочных букв! Они восстают – класс против класса: буквы табличек с названиями улиц воюют с буквами афиш.

Он наелся до отвала. Потянулся к яблокам с ножом, но только рассек желтую скулу яблока и бросил.

Один нарком в речи отозвался о нем с высокой похвалой:

– Андрей Бабичев – один из замечательных людей государства.

Он, Андрей Петрович Бабичев, занимает пост директора треста пищевой промышленности. Он великий колбасник, кондитер и повар.

А я, Николай Кавалеров, при нем шут.

II

Он заведует всем, что касается жранья.

Он жаден и ревнив. Ему хотелось бы самому жарить все яичницы, пироги, котлеты, печь все хлеба. Ему хотелось бы рожать пищу. Он родил «Четвертак».

Растет его детище. «Четвертак» – будет дом-гигант, величайшая столовая, величайшая кухня. Обед из двух блюд будет стоить четвертак.

Объявлена война кухням.

Тысячу кухонь можно считать покоренными.

Кустарничанию, восьмушкам, бутылочкам он положит конец. Он объединит все мясорубки, примуса, сковороды, краны... Если хотите, это будет индустриализация кухонь.

Он организовал ряд комиссий. Машины для очистки овощей, изготовленные на советском заводе, оказались превосходными. Немецкий инженер строит кухню. На многих предприятиях выполняются бабичевские заказы.

Я узнал о нем такое:

Он, директор треста, однажды утром, имея под мышкой портфель, – гражданин очень солидного, явно государственного облика, – взошел по незнакомой лестнице среди прелестей черного хода и постучал в первую попавшуюся дверь. Гарун-аль-Рашидом посетил он одну из кухонь в окраинном, заселенном рабочими доме. Он увидел копоть и грязь, бешеные фурии носились в дыму, плакали дети. На него сразу набросились. Он мешал всем – громадный, отнявший у них много места, света, воздуха. Кроме того, он был с портфелем, в пенсне, элегантный и чистый. И решили фурии: это, конечно, член какой-то комиссии. Подбоченившись, задирали его хозяйки. Он ушел. Из-за него (кричали ему вслед) потух примус, лопнул стакан, пересолился суп. Он ушел, не сказав того, что хотел сказать. У него нет воображения. Он должен был сказать так:

«Женщины! Мы сдуем с вас копоть, очистим ваши ноздри от дыма, уши – от галдежа, мы заставим картошку волшебным образом, в одно мгновение, сбрасывать с себя шкуру; мы вернем вам часы, украденные у вас кухней, – половину жизни получите вы обратно. Ты, молодая жена, варишь для мужа суп. И лужице супа отдаешь ты половину своего дня! Мы превратим ваши лужицы в сверкающие моря, щи разольем океаном, кашу насыплем курганами, плетчером поползет кисель! Слушайте, хозяйки, ждите! Мы обещаем вам: кафельный пол будет залит солнцем, будут гореть медные чаны, лилейной чистоты будут тарелки, молоко будет тяжелое, как ртуть, и такое поплывет благоуханье от супа, что станет завидно цветам на столах».

Он, как факир, пребывает в десяти местах одновременно.

В служебных записках он часто прибегает к скобкам, подчеркиваниям, – боится, что не поймут и напутают.

Вот образцы его записок:

«Товарищу Прокудину!

Обертки конфет (12 образцов) сделайте соответственно покупателю (шоколад, начинка), но по-новому. Но не „Роза Люксембург“ (узнал, что такое имеется, – пастила!), – лучше всего что-нибудь от науки (поэтическое – география? астрономия?), с названием серьезным и по звуку заманчивым: „Эскимо“? „Телескоп“? Сообщите по телефону завтра, в среду, между часом и двумя, мне в правление. Обязательно».

«Товарищу Фоминскому!

Прикажите, чтоб в каждую тарелку первого (и 50– и 75-копеечного обеда) клали кусок мяса (аккуратно отрезанный, как у частника).

Настойчиво следите за этим. Правда ли, что: 1) пивную закуску подают без подносов? 2) горох мелкий и плохо вымоченный?»

Он мелочен, недоверчив и кропотлив, как ключница.

В десять часов утра он приехал с картонажной фабрики. Приема ждало восемь человек. Он принял: 1) заведующего коптильней, 2) уполномоченного дальневосточного консервного треста (схватил жестянку крабов и выбежал из кабинета кому-то показывать; вернувшись, поставил ее рядом, возле локтя, и долго не мог успокоиться, все время поглядывал на голубую жестянку, смеялся, почесывал нос), 3) инженера с постройки склада, 4) немца – относительно грузовых автомобилей (говорили по-немецки; он окончил разговор, должно быть, пословицей, потому что вышло в рифму и оба рассмеялись), 5) художника, принесшего проект рекламного плаката (не понравилось; сказал, что должен быть глухой синий цвет – химический, а не романтический), 6) какого-то контрагента-ресторатора, с запонками в виде молочно-белых бубенчиков, 7) жиденького человека с витой бородой, который говорил о головах скота, и, наконец, 8) некоего восхитительного сельского жителя. Эта последняя встреча носила особый характер. Бабичев встал и двинулся вперед, почти раскрывая объятия. Тот заполнил весь кабинет – этакий пленительно-неуклюжий, застенчивый, улыбающийся, загорелый, ясноглазый, этакий Левин из Толстого. Пахло от него полевыми цветами и молочными блюдами. Шел разговор о совхозе. На лицах присутствующих появилось мечтательное выражение.

В четыре двадцать он уехал на заседание в Высший совет народного хозяйства.

III

Вечером, дома, он сидит, осененный пальмовой зеленью абажура. Перед ним листы бумаги, записные книжки, маленькие листочки с колонками цифр. Он перебрасывает странички настольного календаря, вскакивает, ищет в этажерке, вынимает пачки, становится коленями на стул и – животом на столе, подперши толстое лицо руками, – читает. Зеленая площадка стола прикрыта стеклянной пластиной. В конце концов что же особенного? Человек работает, человек дома, вечером, работает. Человек, уставившись в лист, ковыряет в ухе карандашом. Ничего особенного. Но все его поведение говорит: ты – обыватель, Кавалеров. Конечно, он не заявляет этого. Должно быть, и в мыслях его ничего похожего нет. Но это понятно без слов. Кто-то третий заявляет мне об этом. Кто-то третий заставляет меня беситься в то время, когда я слежу за ним.

– Четвертак! Четвертак-с! – кричит он. – Четвертэк-с!

Он внезапно начинает хохотать. Он что-то уморительное прочел в бумагах или увидел в колонке цифр. Он подзывает меня, давась от хохота. Он ржет, тычет пальцем в лист. Я смотрю и ничего не вижу. Что рассмешило его? Там, где я не мог различить даже начал, от которых можно вести сравнение, он видит нечто настолько отступающее от этих начал, что раздражается хохотом. Я с ужасом внимаю ему. Это хохот жреца. Я слушаю его, как слепой слушает разрыв ракеты.

«Ты – обыватель, Кавалеров. Ты ничего не понимаешь».

Он этого не говорит, но это понятно без слов.

Иногда он не возвращается до поздней ночи. Тогда по телефону я получаю распоряжение:

– Это Кавалеров? Слушайте, Кавалеров! Мне будут звонить из Хлебопродукта. Пусть позвонят два семьдесят три ноль пять, добавочный шестьдесят два, запишите. Записали? Добавочный шестьдесят два, Главконцесском. Привет.

Действительно, ему звонят из Хлебопродукта.

Я переспрашиваю:

– Хлебопродукт? Товарищ Бабичев в Главконцесском... Что? В Главконцесском, два семьдесят три ноль пять. Добавочный шестьдесят два. Записали? Добавочный шестьдесят два, Главконцесском. Привет.

Хлебопродукт вызывает директора треста Бабичева. Бабичев в Главконцесском. Какое мне дело до этого? Но я ощущаю приятность от того, что принимаю косвенное участие в судьбе Хлебопродукта и Бабичева. Я испытываю административный восторг. Но ведь роль моя ничтожна. Холуйская роль. В чем же дело? Я уважаю его? Боюсь его? Нет. Я считаю, что я не хуже, чем он. Я не обыватель. Я докажу это.

Мне хочется поймать его на чем-то, обнаружить слабую сторону, незащищенный пункт. Когда мне в первый раз случилось увидеть его во время утреннего туалета, я был уверен, что поймал его, что прорвалась его непроницаемость.

Вытираясь, он вышел из своей комнаты к порогу балкона и, ковыряя полотенцем в ушах, повернулся ко мне спиной. Я увидел эту спину, этот тучный торс сзади, в солнечном свете, и чуть не вскрикнул. Spина выдала все. Нежно желтело масло его тела. Свиток чужой судьбы развернулся передо мною. Прадед Бабичев холил свою кожу, мягко расположились по туловищу прадеда валики жира. По наследству передались комиссару тонкость кожи, благородный цвет и чистая пигментация. И самым главным, что вызвало во мне торжество, было то, что на пояснице его я увидел родинку, особенную, наследственную дворянскую

родинку, – ту самую, полную крови, просвечивающую, нежную штучку, отстающую от тела на стебельке, по которой матери через десятки лет узнают украденных детей.

«Вы – барин, Андрей Петрович! Вы притворяетесь!» – едва не сорвалось с моих уст. Но он повернулся грудью.

На груди у него, под правой ключицей, был шрам. Круглый, несколько топорщащийся, как оттиск монеты на воске. Как будто в этом месте росла ветвь и ее отрубили. Бабичев был на каторге. Он убежал, в него стреляли.

– Кто такая Иокаста? – спросил он меня однажды ни с того ни с сего. Из него выскакивают (особенно по вечерам) необычайные по неожиданности вопросы. Весь день он занят. Но глаза его скользят по афишам, по витринам, но края ушей улавливают слова из чужих разговоров. В него попадает сырье. Я единственный его неделовой собеседник. Он ощущает необходимость завязать разговор. На серьезный разговор он считает меня неспособным. Ему известно, что люди, отдыхая, болтают. Он решает отдать какую-то дань общечеловеческим обычновениям. Тогда он задает мне праздные вопросы. Я отвечаю на них. Я дурак при нем. Он думает, что я дурак.

– Вы любите маслины? – спрашивает он.

«Да, я знаю, кто такая Иокаста! Да, я люблю маслины, но я не хочу отвечать на дурацкие вопросы. Я не считаю себя глупее вас». Так бы следовало ответить ему. Но у меня не хватает смелости. Он давит меня.

IV

Я живу под его кровом две недели. Две недели тому назад он подобрал меня, пьяного, ночью у порога пивной...

Из пивной меня выкинули.

Ссора в пивной завязалась исподволь; сперва ничто и не предвещало скандала – напротив, могла завязаться между двумя столиками дружба; пьяные общительны; та большая компания, где сидела женщина, предлагала мне присоединиться, и я готов был принять приглашение, но женщина, которая была прелестна, худа, в синей шелковой блузке, болтающейся на ключицах, отпустила шуточку по моему адресу – и я оскорбился и с полдороги вернулся к своему столику, неся впереди кружку, как фонарь.

Тогда целый град шуток посыпался мне вслед. Я и в самом деле мог показаться смешным; этакий вихрастый фрукт. Мужчина вдогонку гоготал басом. Швырнули горошиной. Я обошел свой столик и стал лицом к ним, – пиво ляпало на мрамор, я не мог высвободить большого пальца, запутавшегося в ручке кружки, – хмельной, я разразился признаниями: самоуничужение и заносчивость слились в одном горьком потоке:

– Вы... труппа чудовищ... бродячая труппа уродов, похитившая девушку... – Окружающие прислушались: вихрастый фрукт выражался странно, речь его вышла из общего гомона. – Вы, сидящие справа под пальмочкой, – урод номер первый. Встаньте и покажитесь всем... Обратите внимание, товарищи, почтеннейшая публика... Тише! Оркестр, вальс! Мелодический нейтральный вальс! Ваше лицо представляет собой упряжку. Щеки стянуты морщинами, – и не морщины это, а вожжи; подбородок ваш – вол, нос – возница, большой проказой, а остальное – поклажа на возу... Садитесь. Дальше: чудовище номер второй... Человек со щеками, похожими на колени... Очень красиво! Любуйтесь, граждане, труппа уродов проездом... А вы? Как вы вошли в эту дверь? Вы не запутались ушами? А вы, прильнувший к украденной девушке, спросите ее, что думает она о ваших угрях? Товарищи... – я повернулся во все стороны – они... вот эти... они смеялись надо мною! Вон тот смеялся... Знаешь ли ты, как ты смеялся? Ты издавал те звуки, какие издает пустой клистир... Девушка... «в садах, украшенных весной, царица, равной розы нет, чтобы идти на вас войною, на ваши восемнадцать лет!..» Девушка! Кричите! Зовите на помощь! Мы спасем вас. Что случилось с миром? Он щупает вас, и вы ежитесь? Вам приятно? – Я сделал паузу и затем торжественно сказал: – Я зову вас. Сядьте здесь со мной. Почему вы смеялись надо мной? Я стою перед вами, незнакомая девушка, и прошу: не теряйте меня. Просто встаньте, оттолкните их и шагните сюда. Чего же вы ждете от него, от них всех?.. Чего?.. Нежности? ума? ласк? преданности? Идите ко мне. Мне смешно даже равняться с ними. Вы получите от меня неизмеримо больше...

Я говорил, ужасаясь тому, что говорю. Я резко вспомнил те особенные сны, в которых знаешь: это сон – и делаешь что хочешь, зная, что проснешься. Но тут видно было: пробуждения не последует. Бешено наматывался клубок непоправимости.

Меня выбросили.

Я лежал в беспамятстве. Потом, очнувшись, я сказал:

– Я зову их, и они не идут. Я зову эту сволочь, и они не идут. (Ко всем женщинам разом относились мои слова.)

Я лежал над люком, лицом на решетке. В люке, воздух которого втягивал я, была затхлость, роение затхлости; в черном клубе люка что-то шевелилось, жил мусор. Я, падая, увидел на момент люк, и воспоминание о нем управляло моим сном. Оно было конденсацией тревоги и страха, пережитого в пивной, унижения и боязни наказания; и во сне облеклось оно в фабулу преследования – я убегал, спасался, – все силы мои напряглись, и сон прервался.

Я открыл глаза, трепеща от радости избавления. Но бодрствование было так неполно, что я воспринял его как переход от одного видения к другому, и в новом видении главную роль играл избавитель – тот, кто спас меня от преследования, тот некто, кому осыпал я руки и рукава поцелуями, думая, что целую во сне, – кого обнял я за шею, горько рыдая.

– Почему я так несчастен?.. Как трудно мне жить на свете! – лепетал я.

– Положите его головой повыше, – сказал спаситель.

Меня везли в автомобиле. Приходя в себя, я видел небо, бледное, светлеющее небо; оно несло от пяток за голову. Видение это гремело, было головокружительно и всякий раз оканчивалось приступом тошноты. Когда я проснулся утром, в страхе я протянул руку к ногам. Еще не разобравшись, где я, что со мной, я вспомнил толчки и покачивания. Меня пронзила мысль, что везли меня в карете «Скорой помощи», что пьяному мне отрезало ноги. Я протянул руки, уверенный, что нащупаю толстую, бочоночную округлость бинтов. Но оказалось просто: я лежу на диване в большой, чистой и светлой комнате, имеющей балкон и два окна. Было раннее утро. Розовея, мирно нагревался камень балкона.

Когда мы утром познакомились, я рассказал ему о себе.

– Жалкий был вид у вас, – сказал он, – очень вас стало жаль. Вы, может быть, обижаетесь: вмешивается, мол, человек в чужую жизнь? Тогда извините, пожалуйста. Но хотите вот: поживите нормально. Очень буду рад. Места много. Свет и воздух. И есть для вас работа: вот корректура кое-какая, выборка материалов. Хотите?

Какие причины заставили знаменитую личность снизойти настолько к неизвестному, подозрительного вида, молодому человеку?

V

В один вечер открылись две тайны.

– Андрей Петрович, – спросил я, – кто это, в рамке?

На столе у него стоит фотография чернявого юноши.

– Что-с? – он всегда переспрашивает. Мысли его прилипают к бумаге, он не может оторвать их сразу. – Что-с? – И он отсутствует еще.

– Кто этот молодой человек?

– А... Это некто Володя Макаров. Замечательный молодой человек. (Он никогда не говорит со мной нормально. Как будто ни о чем серьезном я не могу его спросить. Мне всегда кажется, что в ответ от него я получу пословицу, или куплет, или просто мычание. Вот – вместо того чтобы ответить обыкновенной модуляцией: «замечательный молодой человек», он скандирует, почти речитативом произносит: «че-лоо-ве-эк!»)

– Чем же он замечателен? – спрашиваю я, мстя озлобленностью тона.

Но он никакой озлобленности не замечает.

– Да нет. Просто молодой человек. Студент. Вы спите на его диване, – сказал он. – Дело в том, что это как бы сын мой. Десять лет он живет со мной. Володя Макаров. Сейчас он уехал. К отцу. В Муром.

– Ах, вот как...

– Вот-с.

Он встал из-за стола, прошелся.

– Ему восемнадцать лет. Он известный футболист. («А, футболист», – подумал я.)

– Что ж, – сказал я, – это и вправду замечательно! Быть известным футболистом – это и вправду большое качество. («Что я говорю?»)

Он не слышал. Он во власти блаженных мыслей. С порога балкона смотрит он вдаль, в небо. Он думает о Володе Макарове.

– Это совершенно ни на кого не похожий юноша, – вдруг сказал он, поворачиваясь ко мне. (Я вижу, что то, что я присутствую здесь, когда в мыслях его этот самый Володя Макаров, кажется ему оскорбительным.) Я обязан ему жизнью, во-первых. Он спас меня десять лет тому назад от расправы. Меня должны были положить затылком на наковальню и должны были молотом ударить меня по лицу. Он спас меня. (Ему приятно говорить о подвиге того. Видно, часто он вспоминает подвиг.) Но это не важно. Другое важно. Он совершенно новый человек. Ну, ладно. (И он вернулся к столу.)

– Зачем вы подобрали меня и привезли?

– Что-с? А? – Он мычит, через секунду только он услышит мой вопрос. – Зачем привез? Жалкий у вас был вид. Нельзя было не растрогаться. Вы рыдали. Страшно стало вас жаль.

– А диван?

– Что диван?

– А когда вернется ваш юноша...

Он, несколько не задумываясь, просто и весело отвечал:

– Тогда вам придется диван освободить...

Мне надо встать и набить ему морду. Он, видите ли, сжалился, он, прославленная личность, пожалел несчастного, сбившегося с пути молодого человека. Но временно. Пока вернется главный. Ему просто скучно по вечерам. А потом он меня выгонит. С цинизмом он говорит об этом.

– Андрей Петрович, – говорю я. – Вы понимаете, что вы сказали? Вы хам!

– Что-с? А? – Мысли его отрываются от бумаги. Сейчас слух повторит ему мою фразу, и я молю судьбу, чтобы слух ошибся. Неужели он услышал? Ну и пусть. Разом.

Но вмешивается внешнее обстоятельство. Мне не суждено еще вылететь из этого дома. На улице, под балконом, кто-то кричит:

– Андрей!

Он поворачивает голову.

– Андрей!

Он резко встает, отталкиваясь от стола ладонью.

– Андрюша! Дорогой!

Он выходит на балкон. Я подхожу к окну. Оба мы смотрим на улицу. Темнота. Только окнами кое-как освещена мостовая. Посредине стоит маленького роста широкоплечий человек.

– Добрый вечер, Андрюша. Как поживаешь? Как «Четвертак»? (Я вижу из окна балкон и громадного Андрюшу. Он сопит, слышно мне.)

Человек на улице продолжает восклицать, но несколько тише:

– Отчего ты молчишь? Я пришел тебе сообщить новость. Я изобрел машину. Машина называется «Офелия».

Бабичев быстро поворачивается. Тень его бросается вбок по улице и чуть ли не производит бурю в листве противоположного сада. Он садится за стол. Барабанит пальцами по пластине.

– Берегись, Андрей! – слышен крик. – Не заносись! Я погублю тебя, Андрей...

Тогда Бабичев снова вскакивает и со сжатыми кулаками вылетает на балкон. Определенно бушуют деревья. Тень его Буддой низвергается на город.

– Против кого ты воюешь, негодяй? – говорит он. Затем сотрясаются перила. Он ударяет кулаком. – Против кого ты воюешь, негодяй? Убирайся отсюда. Я велю тебя арестовать!

– До свидания, – раздается внизу.

Толстенький человек снимает головной убор, вытягивает руку, машет головным убором (котелок? Кажется, котелок?), вежливость его аффектирована. Андрея на балконе уже нет; человек, быстро сея шажки, удаляется серединой улицы.

– Вот! – кричит на меня Бабичев. – Вот, полюбитесь. Братец мой Иван. Какая сволочь!

Он ходит, кипит, по комнате. И вновь кричит на меня:

– Кто он – Иван? Кто? Лентяй, вредный, заразительный человек. Его надо расстрелять!

(Чернявый юноша на портрете улыбается. У него плебейское лицо. Он показывает особенно, по-мужски, блестящие зубы. Целую сверкающую клетку зубов выставляет он – как японец.)

VI

Вечер. Он работает. Я сижу на диване. Между нами лампа. Абажур (так видно мне) уничтожает верхнюю часть его лица, ее нет. Висит под абажуром нижнее полушарие головы. В целом она похожа на глиняную крашеную копилку.

– Моя молодость совпала с молодостью века, – говорю я. Он не слушает. Оскорбительно его равнодушие ко мне.

– Я часто думаю о веке. Знаменит наш век. И это прекрасная судьба – правда? – если так совпадает: молодость века и молодость человека.

Слух его реагирует на рифму. Рифма – это смешно для серьезного человека.

– Века – человека! – повторяет он. (А скажи ему, что только что он услышал и повторил два слова, – он не поверит.)

– В Европе одаренному человеку большой простор для достижения славы. Там любят чужую славу. Пожалуйста, сделай только что-нибудь замечательное, и тебя подхватят под руки, поведут на дорогу славы... У нас нет пути для индивидуального достижения успеха. Правда ведь?

Происходит то же, как если бы я говорил с самим собой. Я звучу, произношу слова, – ну и звучи. И звучание мое ему не мешает.

– В нашей стране дороги славы заграждены шлагбаумами... Одаренный человек либо должен потускнеть, либо решиться на то, чтобы с большим скандалом поднять шлагбаум. Мне, например, хочется спорить. Мне хочется показать силу своей личности. Я хочу моей собственной славы. У нас боятся уделить внимание человеку. Я хочу большего внимания. Я хотел бы родиться в маленьком французском городке, расти в мечтаниях, поставить себе какую-нибудь высокую цель и в прекрасный день уйти из городка и пешком прийти в столицу и там, фанатически работая, добиться цели. Но я не родился на Западе. Теперь мне сказали: не то что твоя, – самая замечательная личность – ничто. И я постепенно начинаю привыкать к этой истине, против которой можно спорить. Я думаю, даже так: ну, вот можно прославиться, ставши музыкантом, писателем, полководцем, пройти через Ниагару по канату... Это законные пути для достижения славы, тут личность старается, чтобы показать себя... А вот представляете себе, когда у нас говорят столько о целеустремленности, полезности, когда от человека требуется трезвый, реалистический подход к вещам и событиям, – вдруг взять да и сотворить что-нибудь явно нелепое, совершить какое-нибудь гениальное озорство и сказать потом: «Да, вот вы так, а я так». Выйти на площадь, сделать что-нибудь с собой и раскланяться: я жил, я сделал то, что хотел.

Он ничего не слышит.

– Хотя бы взять и сделать так: покончить с собой. Самоубийство без всякой причины. Из озорства. Чтобы показать, что каждый имеет право распоряжаться собой. Даже теперь. Повеситься у вас под подъездом.

– Повесьтесь лучше под подъездом ВСНХ, на Варварской площади, ныне Ногина. Там громадная арка. Видали? Там получится эффектно.

В той комнате, где жил я до переселения сюда, стоит страшная кровать. Я боялся ее, как привидения. Она крутая, словно бочонок. В ней лязгают кости. На ней синее одеяло, купленное мною в Харькове, на Благовещенском базаре, в голодный год. Баба торговала пирогами. Они укрыты были одеялом. Они, остывающие, еще не испутившие жара жизни, почти что лопотали под одеялом, возились, как щенки. В то время я жил плохо, как все, и такой благодатью, домовитостью, теплотой дышала эта композиция, что в тот день я принял твердое решение: купить себе такое же одеяло. Мечта исполнилась. В прекрасный вечер я влез под синее одеяло. Я кипел под ним, возился, теплота приводила меня в шевеление, точно

был я желатиновый. Это было восхитительное засыпание. Но время шло, и узоры одеяла разбухли и превратились в кренделя.

Теперь я сплю на отличном диване.

Умышленным шевелением я вызываю звон его новых, тугих, девственных пружин. Получаются отдельные, из глубины бегущие, капельки звона. Возникает представление о пузырьках воздуха, стремящихся на поверхность воды. Я засыпаю, как ребенок. На диване я совершаю полет в детство. Меня посещает блаженство. Я, как ребенок, снова распоряжаюсь маленьким промежутком времени, отделяющим первое изменение тяжести век, первое посоловление от начала настоящего сна. Я снова умею продлить этот промежуток, смаковать его, заполнять угодными мне мыслями и, еще не погрузившись в сон, еще применяя контроль бодрствующего сознания, – уже видеть, как мысли приобретают сновиденческую плотность, как пузырьки звона из подводных глубин превращаются в быстро катящиеся виноградины, как возникает тучная виноградная гроздь, целая ограда, густо замешанные виноградные гроздья; путь вдоль винограда, солнечная дорога, зной...

Мне двадцать семь лет.

Меня как-то рубашку, я увидел себя в зеркале и вдруг как бы поймал на себе разительное сходство с отцом. В действительности такого сходства нет. Я вспомнил: родительская спальня, и я, мальчик, смотрю на меняющего рубашку отца. Мне было жаль его. Он уже не может быть красивым, знаменитым, он уже готов, закончен, уже ничем иным, кроме того, что он есть, он не может быть. Так думал я, жалея его и тихонько гордясь своим превосходством. А теперь я узнал в себе отца. Это было сходство форм, – нет, нечто другое: я бы сказал – половое сходство: как бы семя отца я вдруг ощутил в себе, в своей субстанции. И как бы кто-то сказал мне: ты готов. Закончен. Ничего больше не будет. Рожай сына.

Я не буду уже ни красивым, ни знаменитым. Я не приду из маленького города в столицу. Я не буду ни полководцем, ни наркомом, ни ученым, ни бегуном, ни авантюристом. Я мечтал всю жизнь о необычайной любви. Скоро я вернусь на старую квартиру, в комнату со страшной кроватью. Там грустное соседство: вдова Прокопович. Ей лет сорок пять, а во дворе ее называют «Анечка». Она варит обеды для артели парикмахеров. Кухню она устроила в коридоре. В темной впадине – плита. Она кормит кошек. Тихие худые кошки взлетают за ее руками гальваническими движениями. Она расшвыривает им какие-то потроха. Пол поэтому украшен как бы перламутровыми плевками. Однажды я поскользнулся, наступив на чье-то сердце – маленькое и туго оформленное, как каштан. Она ходит опутанная кошками и жилами животных. В ее руке сверкает нож. Она раздирает кишки локтями, как принцесса паутину.

Вдова Прокопович стара, жирна и рыхла. Ее можно выдавливать, как ливерную колбасу. Утром я застигал ее у раковины в коридоре. Она была неодета и улыбалась мне женской улыбкой. У дверей ее, на табуретке, стоял таз, и в нем плавали вычесанные волосы.

Вдова Прокопович – символ моей мужской униженности. Получается так: пожалуйста, я готова, ошибитесь ночью дверьми, я нарочно не запру, я приму вас. Будем жить, наслаждаться. А мечты о необычайной любви бросьте. Все прошло. Вот и сами вы какой стали, сосед: толстенький, в укоротившихся брючках. Ну, что вам еще нужно? Та? Тонкорукая? Воображаемая? С яйцевидным личиком? Оставьте. Вы папаша уже. Валяйте, а? Кровать у меня замечательная. Покойник на лотерее выиграл. Стеганое одеяло. Присмотрю за вами. Пожалее. А?

Иногда явную неприличность выражал ее взгляд. Иногда при встрече со мной из горла ее выкатывается некий маленький звук, круглая голосовая капля, вытолкнутая спазмой восторга.

Я не папаша, стряпуха! Я не пара тебе, гадина!

Я засыпаю на бабичевском диване. Мне снится, что прелестная девчонка, мелко смеясь, лезет ко мне под простыню. Мои мечтания сбываются. Но чем, чем я отблагодарю ее? Мне делается страшно. Меня никто не любил безвозмездно. Проститутки и те старались содрать с меня как можно больше, – что же она потребует от меня? Она, как полагается во сне, угадывает мои мысли и говорит:

– О, не беспокойся. Всего четвертак.

Вспоминаю из давних лет: я, гимназист, приведен в музей восковых фигур. В стеклянном кубе красивый мужчина во фраке, с огнедышащей раной в груди, умирал на чьих-то руках.

– Это французский президент Карно, раненный анархистом, – объяснил мне отец.

Умирал президент, дышал, закатывались веки. Медленно, как часы, шла жизнь президента. Я смотрел как зачарованный. Прекрасный мужчина лежал, задрав бороду, в зеленоватом кубе. Это было прекрасно. Тогда услышал я впервые гул времени. Времена неслись надо мною. Я глотал восторженные слезы. Я решил стать знаменитым, чтобы некогда мой восковой двойник, наполненный гудением веков, которое услышать дано лишь немногим, вот так же красовался в зеленоватом кубе.

Теперь я пишу репертуар для эстрадников: монологи и куплеты о фининспекторе, совбарышнях, нэпманах и алиментах:

В учрежденье шум и тарарам,
Все давно смешалось там:
Машинистке Лизочке Каплан
Подарили барабан...

А может быть, все же когда-нибудь в великом паноптикуме будет стоять восковая фигура странного человека, толстоносого, с бледным добродушным лицом, с растрепанными волосами, по-мальчишески полного, в пиджаке, сохранившем только одну пуговицу на пузе; и будет на кубе дощечка:

НИКОЛАЙ КАВАЛЕРОВ

И больше ничего. И все. И каждый увидевший скажет: «Ах!» И вспомнит кое-какие рассказы, может быть, легенды: «Ах, это тот, что жил в знаменитое время, всех ненавидел и всем завидовал, хвастал, заносился, был томим великими планами, хотел многое сделать и ничего не делал – и кончил тем, что совершил отвратительное, гнусное преступление...»

VII

С Тверской я свернул в переулок. Мне надо было на Никитскую. Раннее утро. Переулок суставчат. Я тягостным ревматизмом двигаюсь из сустава в сустав. Меня не любят вещи. Переулок болеет мною.

Маленький человечек в котелке шел впереди меня.

Сначала я подумал: он спешит, – но вскоре обнаружилось, что торопящаяся походка с подбрасыванием всего туловища свойственна человечку вообще.

Он нес подушку. Он на весу держал за ухо большую подушку в желтом напернике. Она ударялась об его колено. От этого в ней появлялись и исчезали впадины.

Бывает, что в центре города, где-нибудь в переулке, заводится цветущая, романтическая изгородь. Мы шли вдоль изгороди.

Птица на ветке сверкнула, дернулась и щелкнула, чем-то напомним машину для стрижки волос. Идущий впереди оглянулся на птицу. Мне, идущему сзади, удалось увидеть только первую фазу, полумесяц его лица. Он улыбался.

«Правда, похоже?» – едва не воскликнул я, уверенный, что то же сходство пришло и ему в голову.

Котелок.

Он снимает его и несет, как кулич, обняв. В другой руке – подушка.

Окна раскрыты. В одном, на втором этаже, виднеется синяя вазочка с цветком. Человечка привлекает вазочка. Он сходит с тротуара, выходит на середину мостовой и останавливается под окном, подняв лицо. Котелок его съехал на затылок. Он цепко держит подушку. Колено уже цветет пухом.

Я наблюдаю из-за выступа.

Он позвал вазочку:

– Валя!

Тотчас же в окне, опрокинув вазочку, бурно появляется девушка в чем-то розовом.

– Валя, – сказал он, – я за тобой пришел.

Наступила тишина. Вода из вазочки бежала на карниз.

– Смотри, я принес... Видишь? (Он поднял подушку обеими руками перед животом.) Узнаешь? Ты спала на ней. (Он засмеялся.) Вернись, Валя, ко мне. Не хочешь? Я тебе покажу «Офелию». Не хочешь?

Снова наступила тишина. Девушка лежала на подоконнике ничком, свесив растрепанную голову. Рядом каталась вазочка. Я вспомнил, что через секунду после появления своего девушка, едва увидев стоящего на улице, уже упала локтями на подоконник, и локти подломились.

По небу шли облака, и по стеклам и в стеклах перепутывались их пути.

– Я прошу тебя, Валя, вернись! Просто: сбеги по лестнице.

Он подождал.

Остановились зеваки.

– Не хочешь? Ну, до свидания.

Он повернулся, поправил котелок и пошел серединой переулка в мою сторону.

– Подожди! Подожди, папа! Папа! Папа!

Он ускорил шаги, побежал. Мимо меня. Я увидел: он не молод. Он задыхался и побледнел от бега. Смешноватый, полненький человек бежал с подушкой, прижатой к груди. Но ничего в том не было безумного.

Окно опустело.

Она бросилась в погоню. Она добежала до угла, – там кончалось безлюдье переулка; она его не нашла. Я стоял у изгороди. Девушка возвращалась. Я шагнул навстречу. Она подумала, что я могу помочь ей, что я что-то знаю, и остановилась. Слеза, изгибаясь, текла у ней по щеке, как по вазочке. Она вся приподнялась, готовая страстно спросить о чем-то, но я перебил ее, сказав:

– Вы прошумели мимо меня, как ветвь, полная цветов и листьев.

Вечером я корректирую:

«... Так, собираемая при убое кровь может быть перерабатываема или в пищу, для изготовления колбас, или на выработку светлого и черного альбумина, клея, пуговиц, красок, землеудобрительных туков и корма для скота, птицы и рыбы. Сало-сырец всякого рода скота и жиросодержащие органические отбросы – на изготовление съедобных жиров: сала, маргарина, искусственного масла, – и технических жиров: стеарина, глицерина и смазочных масел. Головы и бараньи ножки при помощи электрических спиральных сверл, автоматически действующих очистительных машин, газовых опалочных станков, резальных машин и шпарильных чанов перерабатываются на пищевые продукты, технический костяной жир, очищенный волос и кости разнообразных изделий...»

Он говорит по телефону. Раз десять в вечер его вызывают. Мало ли с кем он может разговаривать. Но вдруг до меня доносится:

– Это не жестокость.

Я прислушиваюсь.

– Это не жестокость. Ты спрашиваешь, я и говорю. Это не жестокость. Нет, нет! Можешь быть совершенно спокойна. Ты слышишь? – Унижается? Что? Ходит под окнами? – Не верь. Это его штучки. Он и под моими окнами ходит. Это ему нравится, что он ходит под окнами. Я его знаю. – Что? А? Плакала? Весь вечер? Напрасно весь вечер плакала. – Сойдет с ума? Отправим на Канатчикову. Офелия? Какая? А... Плюнь. Офелия – это бред. – Как хочешь. Но я говорю: ты поступаешь правильно. – Да, да. – Что? Подушка? Неужели? (Хохот.) Воображаю. Как? Как? На которой ты спала? Подумаешь. – Что? Каждая подушка имеет свою историю. Словом, брось сомнения. – Что? – Да-да! (Тут он замолчал и долго слушал. Я сидел на угольях. Он разразился хохотом.) Ветвь? Как? Какая ветвь? Полная цветов? Цветов и листьев? Что? Это, наверное, какой-нибудь алкоголик из его компании.

VIII

Представьте себе обыкновенную вареную чайную колбасу: толстый, ровно округлый брус, отрезанный от начала большой, многовесной штуки. В слепом конце его, из сморщенной и связанной узелком кожи, свисает веревочный хвостик. Колбаса как колбаса. Весу, вероятно, немногим больше кило. Вспотевшая поверхность, желтеющие пузырьки подкожного жира. На месте отреза то же сало имеет вид белых крапинок.

Бабичев держал колбасу на ладони. Он говорил. Открывались двери. Люди входили. Теснились. Колбаса свисала с розовой сановной ладони Бабичева, как нечто живое.

– Здорово? – вопрошал он, обращаясь ко всем сразу. – Нет, вы посмотрите... Жаль, что нет здесь Шапиро. Обязательно позовем Шапиро. Хо-хо. Здорово! Звонили Шапиро? Занято? Еще позвоните...

Затем колбаса на столе. Бабичев любовно устроил подстилку. Сам же, пятась и не спуская с нее глаз, сел в кресло, найдя его задом, уперся кулаками в ляжки и залился хохотом. Поднял кулак, увидел жир, лизнул.

– Кавалеров! (После хохота.) Вы свободны сейчас? Пойдите, пожалуйста, к Шапиро. На склад. Знаете? Прямо идите к нему и несите ее. (Глазами на колбасу.) Принесите, – пусть он посмотрит и звонит мне.

Я понес колбасу к Шапиро на склад. А Бабичев звонил во все концы.

– Да, да, – ревел он, – да! Совершенно превосходнейшая! Пошлем на выставку. В Милан пошлем! Именно та! Да! Да! Семьдесят процентов телятины. Большая победа... Нет, не полтинник, чудак вы... Полтинник! Хо-хо! По тридцать пять. Здорово? Красавица?

Он уехал.

Смеющееся лицо – румяный горшок – качалось в окне автомобиля. Он на ходу совал швейцару тирольку и, выпучив глаза, бежал по лестнице, тяжелый, шумный и порывистый, как вепрь. «Колбаса! – звучит во многих кабинетах. – Именно та... я же говорил вам... Анекдот!..» Из каждого кабинета, пока я брел еще по залитым солнцем улицам, он звонил к Шапиро:

– Несут ее вам! Соломон, вы увидите! Лопнете...

– Еще не принесли? Хо-хо, Соломон...

Он вытирал потную шею, глубоко залезая платком за воротник, почти раздирая его, морщась, страдая.

Я пришел к Шапиро. Все видели, что я несу колбасу, и все расступались. Путь магически расчищался. Все знали, что идет посланец с бабичевской колбасой. Шапиро, меланхолический старый еврей, с носом, похожим в профиль на цифру шесть, стоял во дворе склада, под деревянным навесом. Дверь, наполненная движущейся летней темнотой, как все двери, открытые из пакгаузов (такая нежно-хаотическая темнота возникает перед глазами, если закрыть и прижать пальцами веки), вела внутрь огромного сарая. У косяка снаружи висел телефон. Рядом торчал гвоздь с навешанными желтыми листками каких-то документов.

Шапиро взял у меня брус колбасы, попробовал на вес, покачал на ладони (одновременно качая головой), поднес к носу, понюхал. После этого вышел из-под навеса, положил колбасу на ящик и перочинным ножом осторожно отрезал маленький мягкий ломтик. В полной тишине ломтик был жеван, прижимаем к небу, посасываем и медленно глотаем. Рука с перочинным ножом была отведена в сторону, подрагивала: обладатель руки прислушивался к ощущениям.

– Ах, – вздохнул он, проглотив. – Молодец Бабичев. Он сделал колбасу. Слушайте, правда он добился. Тридцать пять копеек такая колбаса – вы знаете, это даже невероятно.

Зазвенел телефон. Шапиро медленно поднялся и пошел к двери.

– Да, товарищ Бабичев. Поздравляю вас и хочу вас поцеловать.

Где-то там с такой силой кричал Бабичев, что здесь, на порядочном расстоянии от телефона, я слышал его голос, треск и лопающиеся звуки в трубке. Трубка, сотрясаемая мощными колебаниями, почти вырывалась из слабых пальцев Шапиро. Он даже махнул на нее другой рукой, поморщившись, как машут на шалуна, мешающего слушать.

– Что мне делать? – спросил я. – Колбаса останется у вас?

– Он просит принести ее домой к нему, на квартиру. Он приглашает меня вечером кушать ее.

Я не вытерпел:

– Неужели тащить домой? Разве нельзя купить другую?

– Купить такой колбасы нельзя, – молвил Шапиро. – Она еще не поступила в продажу.

Это проба с фабрики.

– Она протухнет.

Шапиро, складывая ножик и скольжением руки по боку ища карман, произносил медлительно, чуть улыбаясь и опустив веки, – как старые евреи, – поучал:

– Я поздравлял товарища Бабичева с колбасой, которая не прованивается в один день. Иначе я не поздравлял бы товарища Бабичева. Мы ее скушаем сегодня. Положите ее на солнце, не бойтесь, на жаркое солнце, – она будет пахнуть, как роза.

Он исчез в темноте сарая, вернулся с бумагой, пергаментной и масляной, и через несколько секунд я держал в руках мастерски сделанный пакет.

С первых дней моего знакомства с Бабичевым уже слышал я разговоры о знаменитой колбасе. Где-то шли опыты по изготовлению какого-то особенного сорта – питательного, чистого и дешевого. Постоянно Бабичев справлялся в разных местах; переходя на заботливые нотки, расспрашивал и давал советы; то томный, то сладко-взволнованный, отходил от телефона. Наконец порода была выведена. Из таинственных инкубаторов вылезла, покачиваясь грузным качанием хобота, толстая, плотно набитая кишка.

Бабичев, получив в руки отрезок этой кишки, побагровел, даже застыдился сперва, подобно жениху, увидевшему, как прекрасна его молодая невеста и какое чарующее впечатление производит она на гостей. В счастливой растерянности он оглядел всех и тотчас же положил кусок и отстранил его с таким выражением приподнятых ладоней, точно хотел сказать: «Нет, нет. Не надо. Я сразу отказываюсь. Чтобы потом не терзаться. Не может быть, чтобы такие удачи случались в простой человеческой жизни. Тут подвох судьбы. Заберите. Я недостойн».

Неся кило удивительной колбасы, я шагал в неопределенном направлении. Я стою на мосту.

Дворец труда по левую руку, сзади – Кремль. На реке лодки, пловцы. Быстро скользит под мой птичий полет катер. С высоты то, что я вижу вместо катера, похоже по форме на гигантскую, разрезанную впродоль миндалину. Миндалина скрывается под мостом. Тогда только я вспоминаю трубу катера и то, что поблизости трубы какие-то двое ели из котелка борщ. Белый клуб дыма, прозрачный и исчезающий, летит по направлению ко мне. Долететь не успевает, переходит в другие измерения и достигает меня только последним своим следом, свивающимся в еле видный, астральный обруч.

Я хотел бросить колбасу в реку.

Замечательный человек, Андрей Бабичев, член общества политкаторжан, правитель, считает сегодняшней свой день праздником. Только потому, что ему показали колбасу нового сорта... Неужели это праздник? Неужели это слава?

Он сиял сегодня. Да, печать славы лежала на нем. Почему же я не чувствую влюбленности, ликования, поклонения при виде этой славы? Меня разбирает злоба. Он – прави-

тель, коммунист, он строит новый мир. А слава в этом новом мире вспыхивает оттого, что из рук колбасника вышел новый сорт колбасы. Я не понимаю этой славы, что же значит это? Не о такой славе говорили мне жизнеописания, памятники, история... Значит, природа славы изменилась? Везде или только здесь, в строящемся мире? Но я ведь чувствую, что этот новый, строящийся мир есть главный, торжествующий... Я не слепец, у меня голова на плечах. Меня не надо учить, объяснять мне... Я грамотен. Именно в этом мире я хочу славы! Я хочу сиять так, как сиял сегодня Бабичев. Но новый сорт колбасы меня не заставит сиять.

Я мотаюсь по улицам со свертком. Кусок паршивой колбасы управляет моими движениями, моей волей. Я не хочу!

Несколько раз я готов был швырнуть сверток через перила. Но стоило мне представить себе, как, освобождаясь на лету от обертки, падает и с эффектностью торпеды исчезает в волнах злосчастный кусок колбасы, – как мгновенно другое представление бросало меня в дрожь. Я видел надвигающегося на меня Бабичева, грозного, неодолимого идола с выпученными глазами. Я боюсь его. Он давит меня. Он не смотрит на меня – и видит насквозь. Он на меня не смотрит. Только сбоку я вижу его глаза, когда лицо его повернуто в мою сторону, взгляда его нет: только сверкает пенсне, две круглые слепые бляшки. Ему неинтересно смотреть на меня, нет времени, нет охоты, но я понимаю, что он видит меня насквозь.

Вечером пришел Соломон Шапиро, пришли еще два, и Бабичев устроил угощение. Старый еврей принес бутылку водки, и они пили, закусывая знаменитой колбасой. Я отказался от участия в трапезе. С балкона я наблюдал их.

Живопись увековечила многие пиры. Пируют полководцы, дожи и просто жирные чревоугодники. Эпохи запечатлены. Веют перья, ниспадают ткани, лоснятся щеки.

Новый Тьеполо! Спешите сюда! Вот для тебя пирующие персонажи... Они сидят под яркой стосвечевой лампой вокруг стола, оживленно беседуют. Пиши их, новый Тьеполо, пиши «Пир у хозяйственника»!

Я вижу полотно твое в музее. Я вижу посетителей, стоящих перед картиной твоей. Они ломают голову, они не знают, о чем с таким вдохновением говорит написанный тобою тучный гигант в синих подтяжках... На вилке держит он кружок колбасы. Уже давно пора исчезнуть кружку во рту говорящего, и он никак не может исчезнуть, потому что говорящий слишком увлечен своей речью. О чем говорит он?

– Сосисок у нас не умеют делать! – говорил гигант в синих подтяжках. – Разве это сосиски у нас? Молчите, Соломон. Вы еврей, вы ничего не понимаете в сосисках, – вам нравится кошерное худосочное мясо... У нас нет сосисок. Это склеротические пальцы, а не сосиски. Настоящие сосиски должны прыскать. Я добьюсь, вот увидите, я сделаю такие сосиски.

IX

Мы собрались на аэродроме.

Я говорю: «мы!»! Уж я-то был с боку припека, случайно прихваченный человек. Никто не обращался ко мне, никого не интересовали мои впечатления. Я мог бы со спокойной совестью оставаться дома.

Должен был состояться отлет советского аэроплана новой конструкции. Пригласили Бабичева. Гости вышли за барьер. Бабичев главенствовал и в этом избранном обществе. Стоило ему вступить с кем-нибудь в разговор, как возле него смыкался круг. Все слушали его с почтительным вниманием. Он красовался в своем сером костюме, грандиозный, выше всех плечами, аркой плечей. На животе у него на ремнях висел черный бинокль. Слушая собеседника, он закладывал руки в карманы и тихо качался на широко расставленных ногах с пятки на носок и с носка на пятку. Он часто почесывает нос. Почесав, он смотрит на пальцы, сложенные щепоткой и близко поднесенные к глазам. Слушатели, как школьники, непроизвольно повторяют его движения и игру его лица. Они тоже почесывают нос, сами себе удивляясь.

Взбешенный, я отошел от них. Я сидел в буфете и, ласкаемый полевым ветерком, пил пиво. Я тянул пиво, наблюдая, как ветерок лепит нежные орнаменты из концов скатерти моего столика.

На аэродроме соединились многие чудеса: тут на поле цвели ромашки, очень близко, у барьера, – обыкновенные дующие желтой пылью ромашки, тут низко, по линии горизонта, катились круглые, похожие на пушечный дым облака; тут же ярчайшим суриком алели деревянные стрелы, указывающие разные направления; тут же на высоте качался, сокращаясь и раздуваясь, шелковый хобот – определитель ветра; и тут же по траве, по зеленой траве старинных битв, оленей, романтики, ползали летательные машины. Я смаковал этот вкус, эти восхитительные противоположения и соединения. Ритм сокращений шелкового хобота располагал к раздумью.

Сквозное, трепещущее, как надкрылья насекомого, имя Лилиенталя с детских лет звучит для меня чудесно... Летательное, точно растянутое на легкие бамбуковые планки, имя это связано в моей памяти с началом авиации. Порхающий человек Отто Лилиенталь убится. Летательные машины перестали быть похожими на птиц. Легкие, просвечивающие желтизной крылья заменились ластами. Можно поверить, что они бьются по земле при подъеме. Во всяком случае, при подъеме вздымается пыль. Летательная машина похожа теперь на тяжелую рыбу. Как быстро авиация стала промышленностью!

Грянул марш. Приехал наркомвоен. Быстро, опережая спутников, прошел наркомвоен по аллее. Напором и быстротой своего хода он производил ветер. Листва понеслась за ним. Оркестр играл щеголевато. Наркомвоен щеголевато шагал, весь в ритме оркестра.

Я бросился к калитке, к выходу на поле. Но меня задержали. Военный сказал «нельзя» и положил руку на верхнее ребро калитки.

– Как это? – спросил я.

Он отвернулся. Его глаза устремились туда, где разворачивались интересные события. Пилот-конструктор, в куртке румяной кожи, стоял во фронт перед наркомвоенном. Ремень туго перетягивал коренастую спину наркомвоенна. Оба держали под козырек. Все лишилось движения. Только оркестр был весь в движении. Бабичев стоял, выпятив живот.

– Пропустите меня, товарищ! – повторил я, тронув военного за рукав, и в ответ услышал:

– Я вас удалю с аэродрома.

– Но я же там был. Я только на минуту уходил. Я с Бабичевым!

Нужно было показать пригласительный билет. Я не имел его: Бабичев просто захватил меня с собой. Конечно, меня никак бы не огорчило, если бы я и не попал на поле. И здесь, за барьером, было отличное место для наблюдения. Но я настаивал. Нечто более значительное, чем просто желание видеть все вблизи, заставило меня полезть на стену. Я вдруг ясно осознал свою непринадлежность к тем, которых созвали ради большого и важного дела, полную ненужность моего присутствия среди них, оторванность от всего большого, что делали эти люди, – здесь ли, на поле, или где-либо в других местах.

– Товарищ, я же не простой гражданин, – заволновался я (лучшей фразы для упорядочения мешанины, происшедшей в моих мыслях, я не мог бы придумать). Что я вам? Обыватель? Будьте добры пропустить. Я оттуда. (Рукой я махнул на группу людей, встречавших наркомвоена.)

– Вы не оттуда, – улыбнулся военный.

– Спросите товарища Бабичева!

В рупор, сделанный из ладоней, я закричал; поднялся на носки:

– Андрей Петрович!

Как раз умолк оркестр. Подземным гулом убежал последний удар барабана.

– Товарищ Бабичев!

Он услышал. Наркомвоен повернулся тоже. Все повернулись. Пилот поднес руку к шлему, картинно защищаясь от солнца.

Меня пронзил страх. Я топтался где-то за барьером; толстопузый, в укоротившихся брючках человек – как я посмел отвлечь их? И когда наступила тишина, когда они, еще не определив, кто зовет одного из них, застыли в выжидательных позах, – я не нашел в себе силы позвать еще раз.

Но он знал, он видел, он слышал, что это я его зову. Секунда – и все кончилось. Участники группы приняли прежние позы. Я готов был заплакать.

Тогда снова я поднялся на носки и сквозь тот же рупор, оглушая военного, послал в ту недостижимую сторону звенящий вопль:

– Колбасник!

И еще раз:

– Колбасник!

И еще много раз:

– Колбасник! Колбасник! Колбасник!

Я видел только его, Бабичева, возвышавшегося тиролькой своей над остальными. Помню желание закрыть глаза и присесть за барьер. Не помню, закрыл ли я глаза, но если закрыл, то, во всяком случае, самое главное еще успел увидеть. Лицо Бабичева обратилось ко мне. Одну десятую долю секунды оно пребывало ко мне обращенным. Глаз не было. Были две тупо, ртутно сверкающие бляшки пенсне. Страх какого-то немедленного наказания вверг меня в состояние, подобное сну. Я видел сон. Так мне показалось, что я сплю. И самым страшным в том сне было то, что голова Бабичева повернулась ко мне на неподвижном туловище, на собственной оси, как на винте. Спина его оставалась неповернутой.

Х

Я покинул аэродром.

Но праздник, шумевший там, манил меня. Я остановился на зеленом валу и стоял, прильнув к дереву, задутый пылью. Меня, как святого, окружал кустарник. Я обламывал кисловатые нежные веточки, обсасывал их. Я стоял, подняв бледное добродушное лицо, и смотрел в небо.

С аэродрома вылетела машина. Со страшным мурлыканьем она покатила надо мной, желтая на солнце, косо, как вывеска, почти раздирая листву моего дерева. Выше, выше, – я следил за нею, топчась на валу: она уносилась, то вспыхивала она, то чернела. Менялось расстояние, и менялась она, принимая формы разных предметов: ружейного затвора, перочинного ножа, растоптанного цветка сирени...

Торжество отлета новой советской машины прошло без меня. Война объявлена. Я оскорбил Бабичева.

Сейчас они вывалятся кучей из ворот аэродрома. Шоферы уже проявляли деятельность. Вот бабичевская синяя машина. Шофер Альперс видит меня, делает мне знаки. Я поворачиваюсь спиной. Мои башмаки запутались в зеленой лапше травы.

Я должен поговорить с ним. Он должен понять. Я должен объяснить ему, что это он виноват, – что не я, но именно он виноват! Он выйдет не один. Мне надо поговорить с ним с глазу на глаз. Отсюда он поедет в правление. Я его опережу.

В правлении сказали: он сейчас на стройке.

«Четвертак»? Значит, к «Четвертаку»!

Меня понесла нелегкая; какое-то слово, которое нужно было сказать ему, как будто уже вырвалось из моих губ, и я догонял его, спеша, боясь не догнать, потерять и забыть.

Постройка явилась мне желтеющим, висящим в воздухе миражем. Вот он, «Четвертак»! Она была за домами, далеко, – отдельные части лесов слились в одно; легчайшим ульем реяла она вдали...

Я приближаюсь. Грохот и пыль. Я гложу и заболеваю катарактой. Я пошел по деревянному настилу. Воробей слетел с пенька, слегкагнулись доски, смеша детскими воспоминаниями о катании на перевесах, – я шел, улыбаясь тому, как оседают опилки и как седеют в опилках плечи.

Где его искать?

Грузовик поперек пути. Он никак не может въехать. Он возится, приподнимается и спадает, как жук, влетающий с горизонтальной плоскости на отвесную.

Ходы запутаны, точно иду я в ухе.

– Товарищ Бабичев?

Указывают: туда. Где-то выбивают днища.

– Куда?

– Туда.

Иду по балке над бездной. Балансирую. Нечто вроде трюма зияет внизу.

Необъятно, черно и прохладно. Все вместе напоминает верфь. Я всем мешаю.

– Куда?

– Туда.

Он неуловим.

Он мелькнул один раз: прошло его туловище над каким-то деревянным бортом. Исчезло. И вот опять он появляется наверху, далеко, – между нами огромная пустота, все то, что вскоре будет одним из дворов здания.

Он задержался. С ним еще несколько – фуражки, фартуки. Все равно, отзову его, чтобы сказать одно слово: «простите».

Мне указали кратчайший путь на ту сторону. Осталась только лестница. Я слышу уже голоса. Осталось одолеть только несколько ступенек...

Но происходит вот что. Я должен пригнуться, иначе меня сметет. Я пригибаюсь, хватаюсь руками за деревянную ступеньку. Он пролетает надо мной. Да, он пронесся по воздуху.

В диком ракурсе я увидел летящую в неподвижности фигуру – не лицо, только ноздри я увидел: две дыры, точно я смотрел снизу на монумент.

– Что это было?

Я покатился по лестнице.

Он исчез. Он улетел. На железной вафле он перелетел в другое место. Решетчатая тень сопровождала его полет. Он стоял на железной штуке, с лязгом и воем описавшей полукруг. Мало ли что: техническое приспособление, кран. Площадка из рельсовых брусьев, сложенных накрест. Сквозь пространства, в квадраты, я и увидел его ноздри.

Я сел на ступеньке.

– Где он? – спросил я.

Рабочие смеялись вокруг, и я улыбался на все стороны, как клоун, закончивший антре забавнейшим каскадом.

– Это не я виноват, – сказал я. – Это он виноват.

XI

Я решил не возвращаться к нему.

Мое прежнее жилище уже принадлежало другому. На дверях висел замок. Новый жилец отсутствовал. Я вспомнил: лицом вдова Прокопович похожа на висячий замок. Неужели снова она вступит в мою жизнь?

Ночь была проведена на бульваре. Прелестнейшее утро расточилось надо мною. Еще несколько бездомных спало поблизости на скамьях. Они лежали скрючившись, с засунутыми в рукава и прижатыми к животу руками, похожие на связанных и обезглавленных китайцев. Аврора касалась их прохладными перстами. Они охали, стонали, встряхивались и садились, не открывая глаз и не разнимая рук.

Проснулись птицы. Раздались маленькие звуки: маленькие – промеж себя – голоса птиц, голоса травы. В кирпичной нише завопились голуби.

Дрожа, я поднялся. Зевота трясла меня, как пса.

(Открывались калитки. Стакан наполнился молоком. Судьи вынесли приговор. Человек, проработавший ночь, подошел к окну и удивился, не узнав улицы в непривычном освещении. Больной попросил пить. Мальчик прибежал в кухню посмотреть, поймалась ли в мышеловку мышь. Утро началось.)

В этот день я написал Андрею Бабичеву письмо.

Я ел во Дворце труда, на Солянке, зразы «нельсон», пил пиво и писал:

«Андрей Петрович!

Вы меня пригрели. Вы пустили меня к себе под бок. Я спал на удивительном вашем диване. Вы знаете, как паршиво жил я до этого. Наступила благословенная ночь. Вы пожалели меня, подобрали пьяного.

Вы окружили меня полотняными простынями. Гладкость и холодок ткани как будто и были рассчитаны на то, чтобы смирить мою горячность, унять беспокойство.

В моей жизни даже появились костяные пуговицы пододеяльника, и в них – только найди нужную точку – плавало радужное кольцо спектра. Я сразу признал их. Они вернулись из давным-давно забытого, самого дальнего, детского уголка памяти.

Я получил постель.

Само это слово было для меня таким же поэтически отдаленным, как слово „серсо“.

Вы мне дали постель.

С высот благополучия спустили вы на меня облако постели, ореол, прильнувший ко мне волшебным жаром, окутавший воспоминаниями, негорькими сожалениями и надеждами. Я стал надеяться на то, что можно еще многое вернуть из предназначенного для моей молодости.

Вы меня облагодетельствовали, Андрей Петрович!

Подумать: меня приблизил к себе прославленный человек! Замечательный деятель поселил меня в своем доме. Я хочу выразить вам свои чувства.

Собственно, чувство-то всего одно: ненависть.

Я вас ненавижу, товарищ Бабичев.

Это письмо пишется, чтобы сбить вам спеси.

С первых же дней моего существования при вас я начал испытывать страх. Вы меня подавили. Вы сели на меня.

Вы стоите в кальсонах. Распространяется пивной запах пота. Я смотрю на вас, и ваше лицо начинает странно увеличиваться, увеличивается торс, – выдувается, выпукляется глина какого-то изваяния, идола. Я готов закричать.

Кто дал ему право давить меня?

Чем я хуже него?

Он умнее?

Богаче душой?

Тоньше организован?

Сильнее? Значительнее?

Больше не только по положению, но и по существу?

Почему я должен признать его превосходство?

Такие вопросы я себе поставил. Каждый день наблюдений давал мне частицу ответа. Прошел месяц. Ответ я знаю. И уже не боюсь вас. Вы просто тупой сановник. И больше ничего. Не значимостью личности подавили вы меня. О нет! Теперь я уже явственно понимаю вас, рассматриваю, посадив на ладонь. Мой страх перед вами прошел, как некое ребячество. Я свалил вас с себя. Вы – липа.

Одно время меня мучили сомнения. „Быть может, я ничтожество перед ним? – подумал я. – Быть может, он мне, честолюбцу, и впрямь являет пример большого человека?“

Но, оказалось, вы просто сановник, невежественный и тупой, как все сановники, которые были до вас и будут после вас. И, как все сановники, вы самодур. Только самодурством можно объяснить ураган, поднятый вами вокруг куска посредственной колбасы, или то, что вы привезли с улицы к себе неизвестного молодого человека. И, может быть, из того же самодурства приблизили вы к себе Володю Макарова, о котором я знаю только одно, что он футболист. Вы – барин. Вам нужны шуты и нахлебники. Не сомневаюсь, что тот Володя Макаров сбежал от вас, не вытерпев издевательств. Как и меня, вы, должно быть, систематически превращали его в дурака.

Вы заявили, что живет он при вас, как сын, что он спас вам жизнь, вы размечтались даже, вспомнив о нем. Я помню. Но это все ложь. Вам неловко признать в себе барские наклонности. Но я видел родинку у вас на пояснице.

Сперва, когда вы сказали, что диван принадлежит тому и что по возвращении того мне придется выкинуться к чертовой матери, – я оскорбился. Но понял через минуту, что и к нему и ко мне вы холодны и безразличны. Вы – барин, мы – приживальщики.

Но, смею вас уверить, ни он, ни я – мы не возвратимся к вам более. Вы не уважаете людей. Он вернется лишь в том случае, если он глупее меня.

Судьба моя сложилась так, что ни каторги, ни революционного стажа нет за мной. Мне не поручат столь ответственного дела, как изготовление шипучих вод или устройство пасек.

Но значит ли это, что я плохой сын века, а вы – хороший? Значит ли это, что я – ничто, а вы – большое нечто?

Вы меня нашли на улице...

Как тупо вы повели себя!

„На улице, – решили вы, – ну ладно, серенькая личность, пусть поработает. Корректор так корректор, правщик, читчик, ладно“. Вы не снизошли к молодому человеку с улицы. Тут и сказалось ваше упоение самим собой. Вы – сановник, товарищ Бабичев!

Кем я показался вам? Погибающим люмпен-пролетарием? Вы решили меня поддержать? Спасибо вам. Я силен – слышите ли вы? – я силен настолько, чтобы погибать и подниматься и снова погибать.

Мне интересно, как поступите вы, прочитав мое письмо. Быть может, вы постараетесь, чтобы меня выслали, или, быть может, посадите в сумасшедший дом? Вы все можете, вы – большой человек, член правительства. Вы же сказали о своем брате, что его надо расстрелять. Вы же сказали: посадим на Канатчикову.

Ваш брат, производящий необычайное впечатление, загадочен для меня, непонятен. Тут тайна, тут ничего я не знаю. Имя „Офелия“ странно волнует меня. А вы, мне кажется, боитесь этого имени.

Кое-какие догадки я строю все же. Я предвижу кое-что. Я помешаю вам. Да, я почти уверен, что это так. Но я не позволю вам. Вы хотите завладеть дочкою вашего брата. Один раз только я видел ее. Да, это я сказал ей о ветви, полной цветов и листьев. У вас нет воображения. Вы высмеяли меня. Я слышал телефонный разговор. Вы так же очернили меня в глазах девушки, как очернили его, отца. Вам невыгодно допустить, чтобы девушка, которую вы хотите покорить, сделать душой при себе, как нас пытались сделать дураками, – чтобы девушка эта имела душу нежную, взволнованную. Вы хотите использовать ее, как используете (нарочно применяю это ваше слово) „головы и бараньи ножки при помощи остроумно применяемых электрических спиральных сверл“ (из вашей брошюры).

Но нет, я не позволю вам. Еще бы: какой лакомый кусочек! Вы обжора и чревоугодник. Разве вы остановитесь перед чем-нибудь ради физиологии своей? Что помешает вам развратить девушку? То, что она племянница ваша? Вы же смеетесь над семьей, над родом. Вам хочется приручить ее.

И потому с таким бешенством вы громите вашего брата. А каждый скажет, едва взглянув на него: это замечательный человек. Я думаю, еще не зная его: он гениален, в чем – не знаю... Вы травите его. Я слышал, как стучали вы кулаком по перилам. Вы заставили дочку покинуть отца.

Но меня вы не затравите.

Я становлюсь на защиту брата вашего и его дочки. Послушайте, вы, тупица, смеявшийся над ветвью, полной цветов и листьев, послушайте, – да, только так, только этим восклицанием я мог выразить свой восторг при виде ее. А какие же слова готовите вы для нее? Вы назвали меня алкоголиком только потому, что я обратился к девушке на непонятном для вас образном языке? Непонятное – либо смешно, либо страшно. Сейчас вы смеетесь, но я заставлю вас вскоре ужасаться. Не думайте, не только образно, – вполне реально я умею мыслить. Что же! О ней, о Вале, я могу сказать и обычными словами, – и вот, пожалуйста, я вам приведу сейчас ряд понятных для вас определений, умышленно, чтобы разжечь вас, чтобы раздражить тем, чего вы не получите, уважаемый колбасник!

Да, она стояла передо мной, – да, сперва по-своему скажу: она была легче тени, ей могла бы позавидовать самая легкая из теней – тень падающего снега; да, сперва по-своему: не ухом она слушала меня, а виском, слегка наклонив голову; да, на орех похоже ее лицо: по цвету – от загара, и по форме – скулами, округлыми, сужающимися к подбородку. Это понятно вам? Нет? Так вот еще. От бега платье ее пришло в беспорядок, открылось, и я увидел: еще не вся она покрылась загаром, на груди у нее увидел я голубую рогатку вены...

А теперь – по-вашему. Описание той, которой вы хотите полакомиться. Передо мной стояла девушка лет шестнадцати, почти девочка, широкая в плечах, сероглазая, с подстриженными и взлохмаченными волосами – очаровательный подросток, стройный, как шахматная фигурка (это уже по-моему!), невеликий ростом.

Вы не получите ее.

Она будет моей женой. О ней я мечтал всю жизнь.

Повоюем! Сразимся! Вы старше меня на тринадцать лет. Они сзади вас и впереди меня. Еще одно-другое достижение в колбасном деле, еще одна-другая удешевленная столовая – вот пределы вашей деятельности.

О, мне другое снится!

Не вы – я получу Валю. Мы прогремим в Европе – там, где любят славу.

Я получу Валю – как приз, – за все: за унижения, за молодость, которую я не успел увидеть, за собачью мою жизнь.

Я рассказывал вам о стряпухе. Помните: о том, как она моется в коридоре. Так вот, я увижу другое: комната где-то, когда-то будет ярко освещена солнцем, будет синий таз стоять

у окна, в тазу будет плясать окно, и Валя будет мыться над тазом, сверкая, как сазан, плескаться, перебирать клавиатуру воды...

Ради того, чтобы исполнилась эта мечта, я сделаю все! Вы не используете Валу.

До свиданья, товарищ Бабичев!

Как мог я целый месяц играть такую унижительную роль? Я к вам не вернусь больше. Ждите: быть может, вернется первый дурак ваш. Кланяйтесь ему от меня. Какое счастье, что больше я не вернусь к вам!

Всякий раз, когда мое самолюбие отчего-либо будет страдать, то знаю, что тотчас же, по ассоциации идей, вспомнится мне какой-нибудь из вечеров, проведенных вблизи вашего письменного стола. Какие тягостные видения!

Вечер. Вы за столом. Самоупоеение излучается из вас. „Я работаю, – трещат эти лучи, – слышишь ли ты, Кавалеров, я работаю, не мешай... тсс... обыватель“.

А утром из разных уст несется хвала:

– Большой человек! Удивительный человек! Совершенная личность – Андрей Петрович Бабичев!

Но вот в то время как подхалимы пели вам гимны, в то время как самодовольство пыжило вас, – жил рядом с вами человек, с которым никто не считался и у которого никто не спрашивал мнения; жил человек, следивший за каждым вашим движением, изучавший вас, наблюдавший вас – не снизу, не раболепно, а по-человечески, спокойно, – и пришедший к заключению, что вы высокопоставленный чиновник – и только, заурядная личность, вознесенная на завидную высоту благодаря единственно внешним условиям.

Дурака валять нечего.

Вот все, что я хотел вам высказать.

Шута вы хотели сделать из меня, – я стал вашим врагом. „Против кого ты воюешь, негодяй?“ – крикнули вы вашему брату. Не знаю, кого имели вы в виду: себя ли, партию вашу, фабрики ваши, магазины ли, пасеки, – не знаю. А я воюю против вас: против обыкновеннейшего барина, эгоиста, сластолюбца, тупицы, уверенного в том, что все сойдет ему благополучно. Я воюю за брата вашего, за девушку, которая обманута вами, за нежность, за пафос, за личность, за имена, волнующие, как имя Офелия, за все, что подавляете вы, замечательный человек. Кланяйтесь Соломону Шапиро...»

XII

Меня впустила уборщица. Бабичева уже нет. Традиционное молоко выпито. На столе мутный стакан. Рядом тарелка с печеньем, похожим на еврейские буквы.

Жизнь человеческая ничтожна. Грозно движение миров. Когда я поселился здесь, солнечный заяц в два часа дня сидел на косяке двери. Прошло тридцать шесть дней. Заяц перепрыгнул в другую комнату. Земля прошла очередную часть пути. Солнечный зайчик, детская игрушка, напоминает нам о вечности.

Я вышел на балкон.

На углу кучка людей слушала церковный звон. Звонили в невидимой с балкона церкви. Эта церковь славится звонарем. Зеваки задирали головы. Им была видна работа знаменитого звонаря.

Однажды и я добрый час простоял на углу. В пролетах арки открывалась внутренность колокольни. Там, в копотной темноте, какая бывает на чердаках, среди чердачных, окутанных паутиной балок, бесился звонарь. Двадцать колоколов раздирали его. Как ямщик, он откидывался, нагибал голову, может быть, гикал. Он вился в серединной точке, в центре мрачной паутины веревок, то замирал, повисая на распростертых руках, то бросался в угол, перекашивая весь чертеж паутины, – таинственный музыкант, неразличимый, черный, может быть, безобразный, как Квазимодо.

(Впрочем, таким страшным малевало его расстояние. При желании можно было бы сказать и так: мужичок распоряжается посудой, тарелочками. А звон знаменитой колокольни назвать смесью ресторанного и вокзального звона.)

Я слушал с балкона.

– Том-вир-лир-ли! Том-вир-лир-ли! Том-вир-лир-ли!

Том Вирлирли. Некий Том Вирлирли реял в воздухе.

Том Вирлирли,
Том с котомкой,
Том Вирлирли молодой!

Всклоченный звонарь переложил на музыку многие мои утра. Том – удар большого колокола, большого котла. Вирлирли – мелкие тарелочки.

Том Вирлирли проник в меня в одно из прекрасных утр, встреченных мною под этим кровом. Музыкальная фраза превратилась в словесную. Я живо представлял себе этого Тома.

Юноша, озирающий город. Никому не известный юноша уже пришел, уже близок, уже видит город, который спит, ничего не подозревает. Утренний туман только рассеивается. Город клубится в долине зеленым мерцающим облаком. Том Вирлирли, улыбаясь и прижимая руку к сердцу, смотрит на город, ища знакомых по детским картинкам очертаний.

Котомка за спиной юноши.

Он сделает все.

Он – это само высокомерие юности, сама затаенность гордых мечтаний.

Пройдут дни – и скоро (не много раз перескочит солнечный зайчик с косяка в другую комнату) мальчики, сами мечтающие о том, чтоб так же, с котомкой за спиной, пройти в майское утро по предместьям города, по предместьям славы, будут распевать песенку о человеке, который сделал то, что хотел сделать:

Том Вирлирли,
Том с котомкой,

Том Вирлирли молодой!

Так в романтическую, явно западноевропейского характера, грезу превратился во мне звон обыкновенной московской церкви.

Я оставлю письмо на столе, соберу пожитки (в котомку?) и уйду. Письмо, сложенное в квадратик, положил я на стеклянную пластину, по соседству с портретом того, кого считал я товарищем по несчастью.

В дверь постучали. Он?

Я открыл.

В дверях, держа котомку в руке, весело улыбающийся (японской улыбкой), точно увидевший сквозь дверь дорогого, взлелеянного в мечтах друга, застенчивый, чем-то похожий на Валю, стоял Том Вирлирли.

Это был чернявый юноша, Володя Макаров. Он посмотрел на меня с удивлением, затем обвел глазами комнату. Несколько раз взгляд его возвращался к дивану, вниз, под диван, где виднелись мои полуботинки.

– Здорово! – приветствовал я его.

Он пошел к дивану, сел, посидел, затем направился в спальню, побывал там, вернулся и, остановившись у вазы-фламинго, спросил меня:

– Где Андрей Петрович? В правлении?

– Не ручаюсь. Андрей Петрович вернется вечером. Возможно, что он привезет с собой нового дурака. Вы первый, я второй, он будет третий. Или до вас уже были дураки? А возможно, что он привезет с собой девочку.

– Кого? – спросил Том Вирлирли. – Как? – спросил он, морщась от непонимания. Приподнялись его виски.

Он сел снова на диван. Полуботинки под диваном беспокоили его. Видно было: он не прочь потрогать их задником своего сапога.

– Зачем вы вернулись? – спросил я. – Какого черта вы вернулись? Наша роль с вами окончена. Сейчас он занят другим. Он развращает девочку. Племянницу свою, Валю. Поняли? Уходите отсюда. Слушайте!

(Я бросился к нему. Он недвижно сидел.)

– Слушайте! Сделайте так, как сделал я! Скажите ему всю правду... Вот (я схватил со стола письмо), вот письмо, которое я ему написал...

Он отстранил меня. Котомка привычно легла в уголок около дивана. Он пошел к телефону и вызвал правление. Так и остались мои пожитки несобранными. Я обратился в бегство.

XIII

Письмо осталось при мне. Я решил его уничтожить. Футболист живет при нем, как сын. По тому, как котомка устроилась в углу, по тому, как оглядывал он комнату, как снимал телефонную трубку, как назвал номер, видно было: он давний, он свой человек в доме, – это дом его. Дурно проведенная ночь повлияла на меня. Я писал не то, что хотел написать. Бабичев не понял бы негодования моего. Он объяснил бы его завистью. Он подумал бы: я завидую Володе.

Хорошо, что письмо осталось при мне.

Иначе получился бы холостой выстрел.

Я ошибся, думая, что Володя – дурак при нем и развлекатель. Следовательно, в письме своем я не должен был брать его под защиту. Напротив. Теперь, встретившись с ним, я увидел высокомерие его. Бабичев растит и холит себе подобного. Вырастет такой же надутый, слепой человек.

Его взгляд говорил: «Извините, вы ошиблись. Приживальщик – это вы. А я – полноправный. Я – барчук».

Я сидел на скамье. И тут обнаружилось ужасное.

Квадратик оказался не тем, – мой был побольше; это не мое письмо. Мое осталось там. Впопыхах я схватил другое письмо. Вот оно:

«Дорогой, милый Андрей Петрович! Здравствуй, здравствуй! В добром ли ты здравии? Не задушил ли тебя твой новый жилец? Не натравил ли на тебя Иван Петрович „Офелию“? Смотри: сплуются они оба – Кавалеров твой да Иван Петрович – и изведут тебя. Смотри берегись. А то ты слабенкий, обидеть тебя легко, смотри ты...

С чего ты такой доверчивый стал? Всякую шпану в дом пускаешь. Гони его к черту! На другой же день сказал бы: „Ну, отоспались, молодой человек, и до свиданья!“ Подумаешь: нежности! Я как прочел письмо твое, что, мол, вспомнил ты обо мне и пожалел пьяницу под стеночкой, поднял да повез ради меня, потому-де, что и со мной где-нибудь несчастье может случиться и буду я так же лежать, – как прочел я это – стало мне смешно и непонятно. Словно не ты это, а Иван Петрович.

Как я предполагал, так и вышло: привез ты этого хитрованца к себе, а потом и растерялся, конечно, – сам не знаешь, что делать с ним. И попросить убраться неловко, и что делать – черт его знает! Верно? Видишь: я тебе мораль читаю. Это у тебя работа такая, настраивает на чувствительность: фрукты, травы, пчелки, телята и всякое такое. А я человек индустриальный. Смейся, смейся, Андрей Петрович! Ты всегда надо мной смеешься. Я, понимаешь ли, уже новое поколение.

Как же теперь будет? Ну, вернусь я, – как с чудачком твоим будет? А вдруг расплатится твой чудак, не захочет с дивана уходить? А ты и пожалеешь его. Да, я ревную. Выгоню его, морду набью. Это ты добрый такой, только кричишь, кулаком стучишь, хорохоришься, а дойдет до дела, ты сейчас – жалеть. Если бы не я, то Валька до сих пор бы мучилась у Ивана Петровича. Как ты там удерживаешь ее? Не вернулась она обратно? Ты же сам знаешь: Иван Петрович хитрый человек, прикидывается, сам же о себе говорит, что дешевка он и шарлатан. Верно? Так и не жалей его.

Вот попробуй устрой его в диспансер. Сбежит. Или Кавалерову твоему в диспансер предложи? Обидится.

Ну, ладно. Ты не сердись. Да ведь твои слова были: „Учи меня, Володя, и я учить тебя буду“. Вот и учимся.

Скоро приеду. На днях. Папаша кланяется тебе. Прощай Муром-городок! Ночью, когда иду, тогда понимаю, что, собственно говоря, и города никакого не существует. Одни мастер-

ские есть, а городок – это что! Так просто, отложение мастерских. Все для них, ради них. Над всеми мастерские. Ночью в городе тьма египетская, мрак, понимаешь ли, домовые. А в сторонке, в поле, огнями горят мастерские, сияют, – праздник!

А в городе (видел я) теленок бежал за участковым надзирателем, за портфелем (тот под мышкой держал). Бежит, шлепает губами, пожевать, что ли, хотел... Такая картина: изгородь, лужица, надзиратель шагает в красной шапке, честь честью, а теленок прицеливается к портфелю. Противоречия, понимаешь ли.

Не люблю я этих самых телят. Я – человек-машина. Не узнаешь ты меня. Я превратился в машину. Если еще не превратился, то хочу превратиться. Машины здесь – зверье! ПороDISTые! Замечательно равнодушные, гордые машины. Не то что в твоих колбасных. Кустарничаете. Вам только телят резать. Я хочу быть машиной. С тобой хочу посоветоваться. Хочу стать гордым от работы, гордым – потому что работаю. Чтоб быть равнодушным, понимаешь ли, ко всему, что не работа! Зависть взяла к машине – вот оно что! Чем я хуже ее? Мы же ее выдумали, создали, а она оказалась куда свирепее нас. Даешь ей ход – пошла! Проработает так, что ни цифирки лишней. Хочу и я быть таким. Понимаешь ли, Андрей Петрович, – чтоб ни цифирки лишней. Как хочется с тобой поговорить!

Подражаю тебе во всем. Чавкаю даже, как ты, в подражание.

Сколько раз думаю о том, что вот-де, как повезло мне! Поднял ты меня, Андрей Петрович! Не все комсомольцы так живут. А я живу при тебе, при мудрейшей, удивительной личности. Каждый дорого даст за такую жизнь. Я ведь знаю: многие мне завидуют. Спасибо тебе, Андрей Петрович! Ты не смейся – в любви, мол, объясняюсь. Машина, скажешь, а в любви объясняется. Верно? Нет, правду говорю: буду машиной.

Как дела? „Четвертак“ строится? Не обвалилось ничего? Как с „Теплом и силой“? Уладил? А Кампфер?

А дома что? Значит, на диванчике-то на моем неизвестный гражданин спит? Вшей напустит. Помнишь, как притащили меня с футбола? До сих пор отзывается. Помнишь, привезли меня? А ты испугался, Андрей Петрович? Правда ведь испугался? Ты ж у меня слюнтяй! Я лежал на диване; нога тяжелая, как рельса. Сам на тебя смотрю, – ты за столом, за колпаком зеленым, пишешь. Смотрю на тебя, – вдруг и ты на меня; я сразу закрываю глаза, – как с мамой!

О футболе кстати. Буду играть против немцев в московской сборной. И, может быть, если не Шухов, – в сборной СССР. Красота!

Что Валька? Конечно, поженимся! Через четыре года. Ты смеешься, говоришь – не выдержим. А я вот заявляю тебе: через четыре года. Да. Я буду Эдисоном нового века. Первый раз мы поцелуемся с ней, когда откроется твой „Четвертак“. Да. Ты не веришь? У нас с ней союз. Ты ничего не знаешь. В день открытия „Четвертака“ мы на трибуне под музыку поцелуемся.

Ты не забывай меня, Андрей Петрович. А вдруг я приеду и окажется такое: твой Кавалеров – первый тебе друг, обо мне забыто, он тебе заменил меня. Гимнастику с тобой вместе делает, на постройку ездит. Мало ли что? А может, он парень оказался замечательный, гораздо приятней, чем я, – может, ты с ним подружился, и я, Эдисон нового века, должен буду убраться к чертовой матери? Может, сидишь ты с ним, да с Иваном Петровичем, да с Валькой – и смеетесь надо мной? А Кавалеров твой на Вальке женился? Скажи правду. Тогда я убью тебя, Андрей Петрович. Честное слово. За измену нашим разговорам, планам. Понял?

Ну, расписался, занятому человеку мешаю. Чтобы цифры лишней не было, – а самого-то разнесло. Это потому, что в разлуке, – правда? Ну, до свидания, дорогой и многоуважаемый, до свидания, скоро увидимся».

XIV

Огромное облако с очертаниями Южной Америки стояло над городом. Оно блистало, но тень от него была грозной. Тень астрономически-медленно надвигалась на бабичевскую улицу.

Все, которые вступили уже в устье той улицы и шли против течения, видели движения тени, у них темнело в глазах, она отнимала у них почву из-под ног. Они шли как бы по вращающемуся шару.

Я пробивался вместе с ними.

Висел балкон. На перилах – куртка. Уже не звонили в церкви. Я заменил зевак на углу. Юноша появился на балконе. Его удивила наступившая пасмурность. Он поднял голову, выглянул, перевалившись через перила.

Лестница, дверь. Стучу. От боя сердца дергается лацкан. Я пришел драться.

Меня впускают. Открывший мне дверь отступает, беря дверь на себя. И первое, что я вижу, – Андрей Бабичев. Андрей Бабичев стоит посередине комнаты, расставив ноги, под которыми должна пройти армия лилипутов. Руки его засунуты в карманы брюк. Пиджак расстегнут и отобран назад. Полы по обеим сторонам позади, оттого что руки в карманах, образуют фестоны. Поза его говорит:

«Нну-с?»

Я вижу только его. Володю Макарова я только слышу.

Я шагаю на Бабичева. Идет дождь.

Сейчас я упаду перед ним на колени.

«Не прогоняйте меня! Андрей Петрович, не прогоняйте меня! Я понял все. Верьте мне, как верите Володе! Верьте мне: я тоже молодой, я тоже буду Эдисоном нового века, я тоже буду молиться на вас! Как я мог прозевать, как мог я остаться слепым, не сделать всего, чтобы вы полюбили меня! Простите меня, пустите, дайте сроку мне четыре года...»

Но, не падая на колени, я спрашиваю ехидно:

– Отчего ж это вы не на службе?

– Убирайтесь отсюда вон! – слышу я в ответ.

Он ответил тотчас же, точно мы сыгрались. Но реплика дошла до сознания моего спутя некоторый промежуток времени.

Произошло нечто необычайное.

Шел дождь. Возможно, была молния.

Я не хочу говорить образно. Я хочу говорить просто. Я читал некогда «Атмосферу» Камилла Фламариона. (Какое планетное имя! Фламарион – это сама звезда!) Он описывает шаровидную молнию, ее удивительный эффект: полный, гладкий шар бесшумно вкатывается в помещение, наполняя его ослепительным светом... о, я далек от намерения прибегать к пошлым сравнениям. Но облако было подозрительно. Но тень надвигалась, как во сне. Но шел дождь. В спальне было открыто окно. Нельзя в грозу оставлять окна открытыми! Сквозняк!

С дождем, с каплями горькими, как слезы, с порывами ветра, под которыми ваза-фламинго бежит, как пламя, воспламеняя занавески, которые также бегут под потолок, появляется из спальни Валя.

Но только меня ошеломляет это явление. На самом же деле все просто: приехал друг, и друзья поспешили с ним увидеться.

Возможно, Бабичев заехал за Валею, мечтавшей, возможно, об этом дне. Все просто. А меня надо отправить в диспансер, лечить гипнозом, чтоб не мыслил образами и не приписывал девушке эффектов шаровидной молнии.

Так я же испорчу вам простоту!

– Убирайтесь отсюда вон! – повторяет слух.

– Не так все просто... – начинаю я.

Сквозит. Дверь осталась открытой. От ветра выросло у меня одно крыло. Оно бешено вертится над плечом, придувая веки. Сквозняком анестезирована половина моего лица.

– Не так все просто, – говорю я, прижавшись к косяку, чтобы сломать ужасное крыло. – Вы уезжали, Володя, а в это время товарищ Бабичев жил с Валею. Пока там четыре года вы будете ждать, Андрей Петрович успеет побаловаться Валею в достаточной степени...

Я оказался за дверью. Половина лица была анестезирована. Может быть, я не почувствовал удара.

Замок щелкнул надо мной так, точно обломилась ветка, и я свалился с прекрасного дерева, как перезревший, ленивый, шмякающийся при падении плод.

– Все кончено, – спокойно сказал я, поднимаясь. – Теперь я убью вас, товарищ Бабичев.

XV

Идет дождь.

Дождь ходит по Цветному бульвару, шастает по цирку, сворачивает на бульвары направо и, достигнув вершины Петровского, внезапно слепнет и теряет уверенность.

Я пересекаю «Трубу», размышляя о сказочном фехтовальщике, который прошел под дождем, отбивая рапирой капли. Рапира сверкала, развевались полы камзола, фехтовальщик вился, рассыпался, как флейта, – и остался сух. Он получил отцовское наследство. Я промок до ребер и, кажется, получил пощечину.

Я нахожу, что ландшафт, наблюдаемый сквозь удаляющие стекла бинокля, выигрывает в блеске, яркости и стереоскопичности. Краски и контуры как будто уточняются. Вещь, оставаясь знакомой вещью, вдруг делается до смешного малой, непривычной. Это вызывает в наблюдателе детские представления. Точно видишь сон. Заметьте, человек, повернувший бинокль на удаление, начинает просветленно улыбаться.

После дождя город приобрел блеск и стереоскопичность. Все видели: трамвай крашен кармином; бульжники мостовой далеко не одноцветны, среди них есть даже зеленые; маляр на высоте вышел из ниши, где прятался от дождя, как голубь, и пошел по канве кирпичей; мальчик в окне ловит солнце на осколок зеркала. . .

Я купил у бабы яйцо и французскую булку. Я стукнул яйцом о трамвайную мачту на глазах у пассажиров, летевших от Петровских ворот.

Я направился вверх. Скамьи проходили на высоте моих колен. Здесь аллея несколько выпукла. Прекрасные матери сидели на скамьях, подложив платочки. На покрытых загаром лицах светились глаза – светом рыбьей чешуи. Загар покрывал также и шеи и плечи. Но молодые большие груди, видные в блузах, белели. Одиноким и загнанным, с тоской пил я эту белизну, чье имя было – молоко, материнство, супружество, гордость и чистота.

Нянька держала младенца, похожего по облачению на папу римского.

У девчонки в красной повязке повисло на губе семечко. Девчонка слушала оркестр, не заметив, как влезла в лужу. Раструбы басов смахивали на слоновьи уши.

Для всех: для матерей, для нянек, для девушек, для музыкантов, опутанных трубами, я был – комик. Трубачи косили на меня глазом, еще более раздувая щеки. Девчонка фыркнула, отчего семечко наконец упало. Тут же она обнаружила лужу. Собственную неудачливость поставила она в вину мне и со злобой отвернулась.

Я докажу, что я не комик. Никто не понимает меня. Непонятное кажется смешным или страшным. Всем станет страшно.

Я подошел к уличному зеркалу.

Я очень люблю уличные зеркала. Они возникают неожиданно поперек пути. Ваш путь обычен, спокоен – обычный городской путь, не сулящий вам ни чудес, ни видений. Вы идете, ничего не предполагая, поднимаете глаза, и вдруг, на миг, вам становится ясно: с миром, с правилами мира произошли небывалые перемены.

Нарушена оптика, геометрия, нарушено естество того, что было вашим ходом, вашим движением, вашим желанием идти именно туда, куда вы шли. Вы начинаете думать, что видите затылком, – вы даже растерянно улыбаетесь прохожим, вы смущены таким своим преимуществом.

– Ах... – тихо вздыхаете вы.

Трамвай, только что скрывшийся с ваших глаз, снова несется перед вами, сечет по краю бульвара, как нож по тарту. Соломенная шляпа, повисшая на голубой ленте через чью-то руку (вы сию минуту видели ее, она привлекала ваше внимание, но вы не удосужились оглянуться), возвращается к вам, проплывает поперек глаз.

Перед вами открывается даль. Все уверены: это дом, стена, но вам дано преимущество: это не дом! Вы обнаружили тайну: здесь не стена, здесь таинственный мир, где повторяется все только что виденное вами, – и притом повторяется с той стереоскопичностью и яркостью, которые подвластны лишь удаляющим стеклам бинокля.

Вы, как говорится, заходите. Так внезапно нарушение правил, так невероятно изменение пропорций. Но вы радуетесь головокружению... Догадавшись, вы спешите к голубеющему квадрату. Ваше лицо неподвижно повисает в зеркале, оно одно имеет естественные формы, оно одно – частица, сохранившаяся от правильного мира, в то время как все рухнуло, переменялось и приобрело новую правильность, с которой вы никак не освоитесь, простояв хоть целый час перед зеркалом, где лицо ваше – точно в тропическом саду. Чересчур зелена зелень, чересчур сине небо.

Вы никак не скажете наверняка (пока не отвернетесь от зеркала), в какую сторону направляется пешеход, наблюдаемый вами в зеркале... Лишь повернувшись...

Я смотрел в зеркало, дожевывая булку.

Я отвернулся.

Пешеход шел к зеркалу, появившись откуда-то сбоку. Я помешал ему отразиться. Улыбка, приготовленная им для самого себя, пришлась мне. Он был ниже меня на голову и поднял лицо.

Спешил он к зеркалу, чтобы найти и скинуть гусеницу, свалившуюся на далекую часть его плеча. Он и скинул ее щелчком, вывернув плечо, как скрипач.

Я продолжал думать про оптические обманы, про фокусы зеркала и потому спросил подошедшего, еще не узнав его:

– С какой стороны вы подошли? Откуда вы взялись?

– Откуда? – ответил он. – Откуда я взялся? (Он посмотрел на меня ясными глазами.)

Я сам себя выдумал.

Он снял котелок, обнаружив плешь, и преувеличенно шикарно раскланялся. Так приветствуют жертвователя милостыни бывшие люди. И, как у бывшего человека, мешки под глазами свисали у него, как лиловые чулки. Он сосал конфетку.

Немедленно я осознал: вот мой друг, и учитель, и утешитель.

Я схватил его за руку и, едва не припав к нему, заговорил:

– Скажите мне, ответьте мне!..

Он поднял брови.

– Что это... Офелия?

Он собирался ответить. Но сквозь уголок губ сладким соком прорвался флюс леденца. Чувствуя восторг и умиление, я ждал ответа.

I

Приближение старости не пугало Ивана Бабичева.

Иногда, впрочем, из уст его раздавались жалобы по поводу быстро текущей жизни, утраченных лет, предполагаемого рака желудка... Но жалобы эти были слишком светлы, по всей вероятности, даже мало искренни – риторического характера жалобы.

Случалось, прикладывал он ладонь к левой стороне груди, улыбался и спрашивал:

– Интересно, какой звук бывает при разрыве сердца?

Однажды поднял он руку, показывая друзьям внешнюю сторону ладони, где вены расположились в форме дерева, и разразился следующей импровизацией.

– Вот, – молвил он, – дерево жизни. Вот дерево, которое мне говорит о жизни и смерти более, нежели цветущие и увядающие деревья садов. Не помню, когда именно обнаружил я, что кисть моя цветет деревом... Но, должно быть, в прекрасную пору, когда еще цветение и увядание деревьев говорило мне не о жизни и смерти, но о конце и начале учебного года! Оно голубело тогда, это дерево, оно было голубое и стройное, и кровь, о которой тогда думалось, что не жидкость она, а свет, зарею всходила над ним и всему пейзажу пясти придавала сходство с японской акварелью...

Шли годы, менялся я, и менялось дерево.

Помню превосходную пору, – оно разрослось. Минуты гордости испытывал я, видя его неодолимое цветение. Оно стало корявым и бурым, – и в том таилась мощь! Я мог назвать его могучей снастью руки. А ныне, друзья мои! Как дряхло оно, как трухляво!

Мне кажется, ломаются ветки, появились дупла... Это склероз, друзья мои! И то, что кожа стекленеет, а под ней водянистой становится ткань, – не есть ли это оседание тумана на дерево моей жизни, того тумана, который вскоре окутает всего меня?

Бабичевых было три брата. Иван был второй. Старшего звали Романом. Он был членом боевой организации и был казнен за участие в террористическом акте.

Младший брат – Андрей – жил в эмиграции. «Как тебе нравится, Андрей? – написал ему Иван в Париж. – У нас в роду мученик! Вот бы обрадовалась бабушка!» На что брат Андрей, со свойственной ему грубостью, ответил коротко: «Ты просто мерзавец». Так определились разногласия между братьями.

С детства Иван удивлял семью и знакомых.

Двенадцатилетним мальчиком продемонстрировал он в кругу семьи странного вида прибор, нечто вроде абажура с бахромой из бубенчиков, и уверял, что при помощи своего прибора может вызвать у любого – по заказу – любой сон.

– Хорошо, – сказал отец, директор гимназии и латинист. – Я верю тебе. Я хочу видеть сон из римской истории.

– Что именно? – деловито спросил мальчик.

– Все равно. Битву при Фарсале. Но если не выйдет, я тебя высеку.

Поздно вечером по комнатам носился, мелькал чудный звон. Директор гимназии лежал в кабинете, ровный и прямой от злости, как в гробу. Мать реяла у желчно закрытых дверей. Маленький Ваня, добродушно улыбаясь, похаживал вдоль дивана, потрясая своим абажуром, как потрясает канатоходец китайским зонтом. Утром отец в три прыжка, не одетый, из кабинета пронесся в детскую и вынул толстого, доброго, сонного, ленивого Ваню из постели. Еще день был слаб, еще, может быть, кое-что и вышло бы, но директор разордал занавески, фальшиво приветствуя наступление утра. Мать хотела помешать порке, мать подкладывала руки, кричала:

– Не бей его, Петенька, не бей... Он ошибся... Честное слово... Ну что ж, что тебе не приснилось?.. Звон отнесся в другую сторону. Знаешь, какая квартира у нас... сырая. Я, я видела битву при Фарсале! Мне приснилась битва, Петенька!

– Не лги, – сказал директор. – Расскажи подробности. Чем отличалось обмундирование баlearских стрелков от обмундирования нумидийских пращников?.. Ну те-с?

Он подождал минуту, мать зарыдала, и маленький экспериментатор был выпорот. Он вел себя, как Галилей. Вечером того же дня горничная сообщила хозяйке, что не пойдет за сделавшего ей предложение некоего Добродеева.

– Он врет все, нельзя ему верить, – так объяснила горничная. – Всю ночь я лошадей видела. Все скачут, все страшные лошади, вроде как в масках. А лошадь видеть – ложь.

Потеряв власть над нижней челюстью, мать – лунатиком – пошла к дверям кабинета. Кухарка остолбенела у печки, чувствуя, что тоже теряет власть над нижней челюстью.

Жена коснулась мужниного плеча. Он сидел за столом, прикрепляя к портсигару отпавшую монограмму.

И мать пролепетала:

– Петруша, расспроси Фросю... Кажется, Фросе приснилась битва при Фарсале...

Неизвестно, как отнесся директор к сновидению горничной. Что касается Ивана, то известно, что спустя месяц или два после истории с искусственными снами он уже рассказывал о новом своем изобретении.

Будто изобрел он особый мыльный состав и особую трубочку, пользуясь которыми можно выпустить удивительный мыльный пузырь. Пузырь этот будет в полете увеличиваться, достигая поочередно размеров елочной игрушки, мяча, затем шара с дачной клумбы и дальше, дальше, вплоть до объема аэростата, – и тогда он лопнет, пролившись над городом коротким золотым дождем.

Отец был в кухне. (Он принадлежал к мрачной породе отцов, гордящихся знанием кое-каких кулинарных секретов и считающих исключительной своей привилегией, скажем, определение количества лаврового листа, необходимого для какого-нибудь прославленного по наследству супа, или, скажем, наблюдение за сроком пребывания в кастрюле яиц, коим положено достигнуть идеального состояния, – так называемых яиц в мешочке.)

За кухонным окном, во дворике, под самой стеной, маленький Иван предавался мечтаниям. Желтым ухом слушал отец и выглянул. Мальчики окружили Ивана. И врал Иван о мыльном пузыре. Он будет большой, как воздушный шар.

Снова в директоре разыгралась желчь. Старший сын Роман год тому назад ушел из семьи. Отец отводил душу на младших.

Бог обидел его сыновьями.

Он отпрянул от окна, даже улыбаясь от злобы. За обедом ждал он высказываний Ивана, но Иван не подал голоса. «Он, кажется, презирает меня. Он, кажется, считает меня дураком», – кипел директор. И в исходе дня, когда отец Бабичева пил на балконе чай, вдруг где-то очень далеко, над самым задним, тающим, стекловидным, мелко и желто поблескивающим в лучах заходящего солнца планом его поля зрения появился большой оранжевый шар. Он медленно плыл, пересекая план по косой линии.

Директор шмыгнул в комнату и тотчас же, сквозь пролет дверей, увидел в соседней комнате Ивана на подоконнике. Гимназист, весь устремившись в окно, громко бил в ладоши.

– Я получил в тот день полное удовлетворение, – вспоминал Иван Петрович. – Отец был напуган. Долго затем искал его взгляда, но он прятал глаза. И мне стало жалко его. Он почернел, – я думал, что он умрет. И великодушно я сбросил мантию. Он сухой был человек, мой папа, мелочный, но невнимательный. Он не знал, что в тот день над городом пролетел аэронавт Эрнест Витолло. Прекрасные афиши извещали об этом. Я сознался в невольном

мошенничестве. Надо вам сказать, что опыты мои над мыльными пузырями не привели к тем результатам, о которых я мечтал.

(Факты говорят о том, что в те времена, когда Иван Бабичев был двенадцатилетним гимназистом, воздухоплавание не достигло еще широкого развития, и вряд ли над провинциальным городом устраивались в те времена полеты.

Но если это и выдумка – то что же! Выдумка – это возлюбленная разума.)

Друзья с наслаждением внимали импровизации Ивана Бабичева.

– И мне кажется, что ночью, после того огорчительного дня, папа мой видел во сне фарсальскую битву. Он не ушел утром в гимназию. Мама понесла ему в кабинет боржом. По всей вероятности, его потрясли подробности битвы. Быть может, он не мог примириться с тем издевательством над историей, которым побаловалось сновидение... Возможно, приснилось ему, что исход битвы решили балеарские пращники, прилетевшие на воздушных шарах...

Такой концовкой заключил Иван Бабичев новеллу о мыльных пузырях.

В другой раз поделился он с друзьями таким случаем из эпохи своего отрочества:

– Студент, по фамилии Шемиот, ухаживал за барышней... а вот хуже – барышней фамилии не помню... Позвольте... позвольте... скажем, Лиля Капитанаки звали барышню, по-козьи стучавшую каблуками. Нам, мальчишкам, все было известно, что происходило во дворе. Студент маялся под Лилиным балконом, готовый и боящийся вызвать из золотистых недр балконной двери эту девушку, которой, должно быть, исполнилось лет шестнадцать и которая казалась нам, мальчишкам, старухой.

Синела студентова фуражка, атели студентовы щеки. На велосипеде приезжал студент. И неопишуемой была студентова тоска, когда в воскресенье, в мае, в одно из тех воскресений, коих не больше десятка числится на памяти метеорологической науки, в воскресенье, когда ветерок был так мил и ласков, что хотелось повязать ему голубую ленточку, студент, разлетевшись к балкону, увидел облокотившуюся на перила Лилину тетку, пеструю и цветастую, как чехол на кресле в местечковой гостиной, – всю в крендельках, рогульках и оборочках и с прической, смахивающей на улитку. И тетка явно обрадовалась явлению студента Шемиота, – она с высоты раскрыла, можно сказать, студенту объятия и возвестила картофельным голосом, таким смоченным слюной и полным языка голосом, точно говорила, пережевывая горячее:

«А Лилечка уезжает в Херсон. Сегодня уезжает. В семь сорок. Надолго уезжает. На все лето уезжает. Велела передать вам привет, Сергей Сергеевич! Привет!»

Но студент чутьем влюбленного понял все. Он знал, что в золотистой глубине комнаты рыдала Лилечка и что Лилечка рвется к балкону и видит, не видя, студента, чей китель, будучи белым, впитал в себя, по законам физики, наибольшее количество лучей и блистает ослепительной альпийской белизной, – но вырваться нельзя, но тетка всеильна...

«Подарите мне велосипед, и я отомщу за вас, – сказал я студенту. – Я знаю, Лилька не хотела никуда ехать. Ее выпроваживают со скандалом. Подарите велосипед».

«Как же ты отомстишь?» – спросил студент, пугаясь меня. И через несколько дней я с невинным видом принес Лилиной тетке, будто от моей мамы, средство от бородавок. У тетки возле нижней губы, в извилине, была большая бородавка. Стареющая эта дама расцеловала меня, причем поцелуи ее произвели на меня такое впечатление, как если бы в меня в упор стреляли из новой рогатки... Друзья мои, студент был отомщен. Из теткиной бородавки вырос цветок, скромный полевой колокольчик. Он нежно подрагивал от теткиного дыхания. Позор упал на ее голову. С воздетыми к небесам руками пронеслась тетка по двору, ввергая всех в панику...

Моя радость была двойной. Во-первых, блестяще разрешился эксперимент выращивания цветов из бородавок, а во-вторых – студент подарил мне велосипед.

А в ту эпоху, друзья мои, велосипед являлся редкостью. Тогда рисовали еще на велосипедистов карикатуры.

– А что стало с теткой?

– О мой друг! Она так и жила с цветком до осени. С упованием ждала она ветреных дней и, дождавшись, отправлялась задами, минуя оживленные части города, куда-нибудь в зеленеющие местности... Моральные муки терзали ее. Она прятала лицо в шарф, цветок любовно щекотал ей губы, и щекотанье это звучало, как шепот уныло прожитой молодости, как призрак какого-то единственного, чуть ли не топотом ног выгнанного поцелуя... Она останавливалась на холме, опускала шарф.

«Ну, разнеси, разнеси его на все четыре стороны! Ну, сдуй же, сдуй его проклятые лепестки», – молила она.

Ветер, как назло, прекращался. Но зато прилетела с ближайшей дачи очумелая пчела и, прицеливаясь к цветку, начинала оплетать бедную женщину гудящими восьмерками. Тетка обращалась в бегство, и дома, велев прислуге никого не впускать, сидела перед зеркалом, озирая мифическое свое, украшенное цветком лицо, распухшее у нее на глазах от укуса и превращавшееся в некий тропический корнеплод. Ужас! А просто отрезать цветок – это было бы слишком рискованно: все-таки бородавка! А вдруг заражение крови!

Ваня Бабичев был мастер на все руки. Сочинял он стихи и музыкальные пьески, отлично рисовал, множество вещей умел он делать, даже придумал некий танец, рассчитанный на использование внешних своих особенностей: полноты, лености, – был он увалень (как многие замечательные люди в отроческие годы). Назывался танец «Кувшинчик». Он торговал бумажными змеями, свистульками, фонариками; мальчики завидовали умелости его и славе. Во дворе получил он прозвище «механик».

Затем в Петербурге Иван Бабичев окончил Политехнический институт по механическому отделению как раз в том году, когда казнен был брат Роман. Инженером работал Иван в городе Николаеве, близ Одессы, на заводе Наваль, вплоть до начала европейской войны.

Тут...

II

Да был ли он когда-либо инженером?

В тот год, когда строился «Четвертак», Иван занимался промыслом малопочтенным, а для инженера – просто позорным.

Представьте, в пивных рисовал он портреты с желающих, сочинял экспромты на заданные темы, определял характер по линиям руки, демонстрировал силу своей памяти, повторяя пятьсот любых прочитанных ему без перерыва слов.

Иногда он вынимал из-за пазухи колоду карт, мгновенно приобретая сходство с шулером, и показывал фокусы.

Его угощали. Он присаживался, и тогда начиналось главное: Иван Бабичев проповедовал.

О чем он говорил?

– Мы – это человечество, дошедшее до последнего предела, – говорил он, стуча кружкой по мрамору, как копытом. – Сильные личности, люди, решившие жить по-своему, эгоисты, упрямы, к вам обращаюсь я, как к более умным, – авангард мой! Слушайте, стоящие впереди! Кончается эпоха. Вал разбивается о камни, вал закипает, сверкает пена. Что же хотите вы? Чего? Исчезнуть, сойти на нет капельками, мелким водяным кипением? Нет, друзья мои, не так должны вы погибнуть! Нет! Придите ко мне, я научу вас.

Слушатели внимали ему с некоторой почтительностью, но с малым вниманием, однако поддерживали его возгласами «правильно!» и порою аплодисментами. Исчезал он внезапно, произнося на прощание всякий раз одно и то же четверостишие; звучало оно так:

Ведь я не шарлатан немецкий,
И не обманщик я людей!
Я – скромный фокусник советский,
Я – современный чародей!

Было сказано им и такое:

– Ворота закрываются. Слышите ли вы шипение створок? Не рвитесь. Не стремитесь проникнуть за порог! Остановитесь! Остановка – гордость. Будьте горды. Я вождь ваш, я король пошляков. Тому, кто поет и плачет и мажет носом по столику, когда уже все выпито пиво и пива не дают больше, – тому место здесь, рядом со мной. Придите, тяжелые горем, несомые песней. Убивающий из ревности или ты, вяжущий петлю для самого себя, – я зову вас обоих, дети гибнущего века: приходите, пошляки и мечтатели, отцы семейств, лелеющие дочерей своих, честные мещане, люди, верные традициям, подчиненные нормам чести, долга, любви, боящиеся крови и беспорядка, дорогие мои – солдаты и генералы, – двинем походом! Куда? Я поведу вас.

Любил он есть раков. Рачье побоище сыпалось под его руками. Он был неопрятен. Рубаха его, похожая на трактирную салфетку, всегда была раскрыта на груди. Вместе с тем появлялся он, случалось, и в крахмальных манжетах, но грязных. Если можно соединить неопрятность со склонностью к щегольству, то ему это удалось вполне. Например: котелок. Например: цветок в петлице (остававшийся там чуть ли не до превращения в плод). И например: бахрома на штанах, и от нескольких пуговиц пиджака – лишь хвостики.

– Я – пожиратель раков. Смотрите: я их не ем, я разрушаю их, как жрец. Видите? Прекрасные раки. Они опутаны водорослями. Ах, не водоросли? Простая зелень, говорите вы? Не все ли равно? Условимся, что водоросли. Так можно сравнить рака с кораблем, поднятым со дна морского. Прекрасные раки. Камские.

Он облизывал кулак и, заглянув в манжет, извлекал оттуда рачий обломок.

Да был ли он когда-либо инженером? Да не врал ли он? Как не вязалось с ним представление об инженерской душе, о близости к машинам, к металлу, чертежам! Скорее его можно было принять за актера или попа-расстригу. Он сам понимал, что слушатели не верят ему. Он и сам говорил с некоторым поигрыванием в уголке глаза.

То в одной пивной, то в другой появлялся толстенький проповедник. Однажды до того он дошел, что позволил себе влезть на стол... Неуклюжий и никак не подготовленный к подобным трюкам, он лез по головам, хватаясь за пальмовые листья; разбивались бутылки, повалилась пальма, – он утвердился на столе и, размахивая двумя пустыми кружками, как гирями, стал кричать:

– Вот я стою на высотах, озирая сползающую армию! Ко мне! Ко мне! Велико мое воинство! Актерики, мечтающие о славе. Несчастные любовники! Старые девы! Счетоводы! Честолюбцы! Дураки! Рыцари! Труссы! Ко мне! Пришел король ваш, Иван Бабичев! Еще не настало время, – скоро, скоро мы выступим... Сползайте, воинство!

Он швырнул кружку и, выхватив из чьих-то рук гармонию, распустил ее по брюху. Стоя, извлеченный им, вызвал бурю; под потолок взлетели бумажные салфетки...

Из-за прилавка спешили люди в фартуках и клеенчатых манжетах.

– Пива! Пива! Дайте нам еще пива! Дайте нам бочку пива! Мы должны выпить за великие события!

Но больше пива не дали, компанию вытолкали в темь и проповедника Ивана гнали вслед – самого маленького из них, тяжелого, трудно поддающегося выпроваживанию человека. От упорства и гнева он внезапно обрел тяжесть и мертвенную неподвижность железной нефтяной бочки.

Постыдно нахлобучили на него котелок.

По улице он пошел, шатаясь в разные стороны – точно передавали его из рук в руки, – и жалобно не то пел, не то выл, смущая прохожих.

– Офелия! – пел он. – Офелия! – Одно только это слово; оно носилось над его путем, казалось, летело оно над улицами быстро выплетающей самое себя, сияющей восьмеркой.

В ту ночь он посетил своего знаменитого брата. За столом сидели двое. Один напротив другого. Посредине стояла лампа под зеленым абажуром. Сидел брат Андрей и Володя. Володя спал, положив голову на книгу. Иван, пьяный, устремился к дивану. Он долго мучился, пытаясь подвинуть диван под себя, как подвигают стул.

– Ты пьян, Ваня, – сказал брат.

– Я тебя ненавижу, – ответил Иван. – Ты идол.

– Как тебе не стыдно, Ваня! Ложись, спи. Я тебе дам подушку. Сними котелок.

– Ты не веришь ни одному моему слову. Ты – тупица, Андрей! Не перебивай меня. Иначе я разобью абажур о Володину голову. Молчи. Почему ты не веришь в существование «Офелии»? Почему ты не веришь, что я изобрел удивительную машину?

– Ты ничего не изобрел, Ваня! Это у тебя навязчивая идея. Ты нехорошо шутишь. Ну как тебе не стыдно, а? Ведь ты меня за дурака считаешь. Ну что это за машина? Ну разве может быть такая машина? И почему «Офелия»? И почему ты котелок носишь? Что ты – старьевщик или посол?

Иван помолчал. Потом, как бы разом протрезвев, он поднялся и, сжимая кулаки, пошел на брата:

– Не веришь? Не веришь? Андрей, встань, когда с тобой говорит вождь многомиллионной армии. Ты смеешь мне не верить? Ты говоришь, такой машины нет? Андрей, обещаю тебе: ты погибнешь от этой машины.

– Не бузи, – ответил брат, – ты разбудишь Володю.

– Плевать на твоего Володю. Я знаю, я знаю твои планы. Ты хочешь мою дочь отдать Володе. Ты хочешь вывести новую породу. Моя дочь – не инкубатор. Ты ее не получишь. Я не отдам ее Володе. Собственными руками я ее задушю.

Он сделал паузу и с поигрыванием в уголке глаза, засунув руки в карманы и как будто подняв руками брюшко, которое выпятилось, сказал полным ехидства тоном:

– Ты ошибаешься, братец! Ты самому себе очки втираешь. Хо-хо, миляга. Ты думаешь, что Володю ты любишь, потому что Володя новый человек? Дудки, Андрюша, дудки... Не то, Андрюша, не то... Совсем другое.

– Что же? – спросил грозно Андрей.

– Просто стареешь ты, Андрюша! И просто тебе сын нужен. И просто отцовские ты питаешь чувства. Семья – она вечна, Андрей! А символизация нового мира в образе мало-замечательного юноши, известного только на футбольном поприще, – это чепуха...

Володя поднял голову.

– Привет Эдисону нового века! – воскликнул Иван. – Ура! – и пышно раскланялся.

Володя молча смотрел на него. Иван хохотал.

– Что ж, Эдисон? И ты не веришь, что есть такая «Офелия»?

– Вас, Иван Петрович, надо посадить на Канатчикову дачу, – сказал, зевая, Володя.

Андрей издал короткое ржанье.

Тогда проповедник швырнул котелок на пол.

– Хамы! – крикнул он. И после паузы: – Андрей! Ты позволяешь? Почему ты позволяешь приемышу оскорблять твоего брата?

Тут Иван не увидел глаз брата, – увидел Иван только блеск стекла.

– Иван, – сказал Андрей. – Прошу тебя никогда ко мне не приходить. Ты не сумасшедший. Ты скотина.

III

Пошли разговоры о новом проповеднике.

Из пивных перекинулся слух в квартиры, прополз по черным ходам в общие кухни, – в час утренних умываний, в час разжигания примусов, люди, следящие за норвящим сбежать молоком, и другие, пляшущие под краном, трепали сплетню.

Слух проник в учреждения, в дома отдыха, на рынки.

Сочинен был рассказ о том, как пришел на свадьбу к инкассатору, на Якиманку, неизвестный гражданин (в котелке, – указывались подробности, – потертый, подозрительный человек – не кто иной, как он, Бабичев Иван) и, представ перед всеми в самом разгаре пира, потребовал внимания, с тем чтобы произнести речь – обращение к новобрачным. Он сказал:

– Не надо любить вам друг друга. Не надо соединяться. Жених, покинь невесту! Какой плод принесет вам ваша любовь? Вы произведете на свет своего врага. Он сожрет вас.

Жених полез будто в драку. Невеста грохнулась оземь. Гость удалился в большой обиде, и тотчас же будто обнаружилось, что портвейн во всех бутылках, стоявших на пиршественном столе, превратился в воду.

Выдумана была и другая удивительная история.

Проезжал будто по очень шумному месту (одни называли Неглинный у Кузнецкого моста, другие – Тверскую у Страстного монастыря) автомобиль, в котором сидел солидный гражданин, полный, краснощекий, с портфелем на коленях.

И как будто выбежал из толпы с тротуара его брат Иван, тот самый, знаменитый человек. Он, завидев катящего брата, стал на пути машине, распахнув руки, как стоит огородное чучело или как останавливают, пугая, понесшую лошадь. Шофер успел замедлить ход. Он подавал сигналы, продолжая медленно накатываться, но чучело не сходило с дороги.

– Стой! – воскликнул во весь голос человек. – Стой, комиссар! Стой, похититель чужих детей!

И ничего не оставалось шоферу, как затормозить. Поток движения осекся. Чуть ли не вздыбились многие машины, налетев на переднюю, а автобус, заревев, остановился, весь придя в беспокойство, готовый покориться, поднять слоновые свои шины и попятиться...

Распростертые руки стоящего на мостовой требовали тишины.

И все смолкло.

– Брат, – проговорил человек. – Почему ты едешь в автомобиле, а я хожу пешком? Открой дверцу, отодвинься, впусти меня. Мне тоже не подходит ходить пешком. Ты вождь, но я вождь также.

И действительно, на эти слова подбежали к нему с разных сторон люди, из автобуса выскочили некоторые, другие покинули окрестные пивные, с бульвара примчались третьи, – и тот, сидевший в автомобиле, брат, поднявшись, громадный, увеличившийся от стояния в автомобиле, увидел перед собой живую баррикаду.

Грозный вид его был таков, что казалось, он сейчас шагнет и пойдет по машине, по спине шофера, на них, на баррикаду, сокрушающим – на всю высоту улицы – столбом...

А Ивана – точно подняли на руки: он вознесся над толпой приверженцев, покачивался, проваливался, выдергивался; котелок его съехал на затылок, и открылся большой, ясный, усталого человека, лоб.

И стащил его брат Андрей с высоты, схватив за штаны на животе жменей. Так он и швырнул его милиционеру.

– В ГПУ! – сказал он.

Едва произнесено было волшебное слово, как все, востепенувшись, вышло из летаргии: сверкнули спицы, втулки завертелись, захлопали двери, и все те действия, которые начаты были до летаргии, получили свое дальнейшее развитие.

Иван находился под арестом десять дней.

Когда ему вернули свободу, друзья-собутыльники спросили его, правда ли, что был он арестован братом на улице при столь удивительных обстоятельствах. Он хохотал.

– Это ложь. Легенда. Просто в пивной меня задержали. Полагаю, что давно уже было за мной наблюдение. Но, однако, хорошо, что уже сочиняются легенды. Конец эпохи, переходное время, требует своих легенд и сказок. Что же, я счастлив, что буду героем одной из таких сказок. И будет еще одна легенда: о машине, носившей имя «Офелия»... Эпоха умрет с моим именем на устах. К тому и прилагаю я свои старания.

Его отпустили, пригрозив высылкой.

Что могли инкриминировать ему в ГПУ?

– Вы называли себя королем? – спросил его следователь.

– Да... королем пошляков.

– Что это значит?

– Видите ли, я открываю глаза большой категории людей...

– На что вы открываете им глаза?

– Они должны понять свою обреченность.

– Вы сказали: большая категория людей. Кого вы подразумеваете под этой категорией?

– Всех тех, кого вы называете упадочниками. Носителей упадочных настроений. Разрешите, я объясню подробней.

– Я буду вам благодарен.

– ...целый ряд человеческих чувств кажется мне подлежащим уничтожению...

– Например? Чувства...

– ...жалости, нежности, гордости, ревности, любви – словом, почти все чувства, из которых состояла душа человека кончающейся эры. Эра социализма создаст взамен прежних чувствований новую серию состояний человеческой души.

– Так-с.

– Я вижу, вы не понимаете меня. Гонениям подвергается коммунист, ужаленный змеей ревности. И жалостливый коммунист также подвергается гонениям. Лютик жалости, ящерица тщеславия, змея ревности – эта флора и фауна должна быть изгнана из сердца нового человека.

...вы меня извините, я говорю несколько красочно, вам покажется: витиевато? Вам не трудно? Благодарю вас. Воды? Нет, я не хочу воды... Я люблю говорить красиво...

...знаем мы, что могила комсомольца, наложившего на себя руки, украшается, вперемежку с венками, также и проклятиями соратников. Человек нового мира говорит: самоубийство есть акт упадочнический. А человек старого мира говорил: он должен был покончить с собой, чтобы спасти свою честь. Таким образом, видим мы, что новый человек приучает себя презирать старинные, прославленные поэтами и самой музой истории чувства. Ну вот-с. Я хочу устроить последний парад этих чувств.

– Это и есть то, что вы называете заговором чувств?

– Да. Это и есть заговор чувств, во главе которого стою я.

– Продолжайте.

– Да. Я хотел бы объединить вокруг себя некую труппу... Понимаете ли вы меня?

...видите ли, можно допустить, что старинные чувства были прекрасны. Примеры великой любви, скажем, к женщине или отечеству. Мало ли что! Согласитесь, кое-что из воспоминаний этих волнует и до сих пор. Ведь правда? И вот хотелось бы мне...

...знаете, бывает, электрическая лампочка неожиданно тухнет. Перегорела, говорите вы. И эту перегоревшую лампочку если встряхнуть, то она вспыхнет снова и будет еще гореть некоторое время. Внутри лампы происходит крушение. Вольфрамовые нити обламываются, и от соприкосновения обломков лампе возвращается жизнь. Короткая, неестественная, нескрываемо обреченная жизнь – лихорадка, слишком яркий накал, блеск. Затем наступит тьма, жизнь не вернется, и во тьме лишь будут позванивать мертвые, обгоревшие нити. Вы понимаете меня? Но короткий блеск прекрасен!

...Я хочу встряхнуть...

...Я хочу встряхнуть сердце перегоревшей эпохи. Лампу-сердце, чтобы обломки соприкоснулись...

...и вызвать мгновенный прекрасный блеск...

...я хочу найти представителей оттуда, из того, что называете вы старым миром. Те чувства я имею в виду: ревность, любовь к женщине, честолюбие. Глупца я хочу найти такого, чтоб показать вам: вот, товарищи, представитель того человеческого состояния, которое называется «глупость».

...многие характеры разыгрывали комедию старого мира. Занавес закрывается. Персонажи должны сбежаться к авансцене и пропеть последние куплеты. Я хочу быть посредником между ними и зрительным залом. Я буду дирижировать хором и последним уйду со сцены.

...мне выпала честь провести последним парадом старинные человеческие страсти...

...в глазные прорезы маски мерцающим взглядом следит за нами история. И я хочу показать ей: вот влюбленный, вот честолюбец, вот предатель, вот безрассудный храбрец, вот верный друг, вот блудный сын, – вот они, носители великих чувств, ныне признанных ничтожными и пошлыми. Пусть в последний раз, прежде чем исчезнуть, прежде чем подвергнуться осмеянию, пусть проявятся они в высоком напряжении.

...Я слушаю чужой разговор. О бритве говорят. О безумце, перерезавшем себе горло. Тут же порхает женское имя. Он не умер, безумец, горло ему зашили, – и снова полоснул он по тому же месту. Кто ж он? Покажите его, он нужен мне, я ищу его. И ее ищу. Ее, демоническую женщину, и его, трагического любовника. Но где его искать? В больнице Склифосовского? А ее? Кто она? Конторщица? Нэпманша?

...мне очень трудно найти героев...

...героев нет...

...я заглядываю в чужие окна, поднимаюсь по чужим лестницам. Порой я бегу за чужой улыбкой, вприпрыжку, как за бабочкой бежит натуралист! Мне хочется крикнуть: «Остановитесь! Чем цветет тот куст, откуда вылетел непрочный и опрометчивый мотылек вашей улыбки? Какого чувства этот куст? Розовый шиповник грусти или смородина мелкого тщеславия? Остановитесь! Вы нужны мне...»

...я хочу собрать вокруг себя множество. Чтобы иметь выбор и выбрать лучших, ярчайших из них, сделать ударную, что ли, группу... группу чувств.

...да, это заговор, мирное восстание. Мирная демонстрация чувств.

...скажем, где-нибудь отыщу я полнокровного, стопроцентного честолюбца. Я скажу ему: «Проявись! Покажи тем, что затирают тебя, покажи им, что есть честолюбие. Соверши поступок, о котором сказали бы: „О, подлое честолюбие! о, какова сила честолюбия!“» Или, скажем, посчастливится мне найти идеально легкомысленного человека. И также я попрошу его: «Проявись, покажи силу легкомыслия, чтоб зрители всплеснули руками».

...гении чувств завладевают душами. Одной душой правит гений гордости, другой – гений сострадания. Я хочу извлечь их, этих бесов, и выпустить их на арену.

Следователь. И что же, вам удавалось уже найти кого-либо?

Иван. Я долго звал, долго искал. Это очень трудно. Быть может, меня не понимают. Но одного я нашел.

Следователь. Кого именно?

Иван. Вас интересует чувство, носителем которого он является, или его имя?

Следователь. И то и другое.

Иван. Николай Кавалеров. Завистник.

IV

Они отошли от зеркала.

Теперь уж два комика шли вместе. Один, пониже и потолще, опережал на шаг другого. Это была особенность Ивана Бабичева. Разговаривая со спутником, он принужден был постоянно оглядываться. Если приходилось ему произносить длинную фразу (а фразы его никогда не бывали короткими), то не раз, шагая с лицом, повернутым на спутника, он натыкался на встречных. Тогда немедленно срывал он котелок и рассыпался в высокопарных извинениях. Человек он был учтивый. С лица его не сходила приветливая улыбка.

День сворачивал лавочку. Цыган, в синем жилете, с крашеными щеками и бородой, нес, подняв на плечо, чистый медный таз. День удалялся на плече цыгана. Диск таза был светел и слеп. Цыган шел медленно, таз легко покачивался, и день поворачивался в диске.

Путники смотрели след.

И диск зашел, как солнце. День окончился.

Путники тотчас завернули в пивную.

Кавалеров рассказал Ивану о том, как выгнало его из своего дома значительное лицо. Имени он не назвал. Иван рассказал ему о том же: и его выгнало значительное лицо.

– И вы его, наверно, знаете. Его знают все. Это брат мой, Андрей Петрович Бабичев. Слышали?

Кавалеров, покраснев, опустил глаза. Он ничего не ответил.

– Таким образом, судьба наша схожа, и мы должны быть друзьями, – сказал Иван, сияя. – А фамилия Кавалеров мне нравится: она высокопарна и низкопробна.

Кавалеров подумал: «Я и есть высокопарный и низкопробный».

– Прекрасное пиво! – воскликнул Иван. – Поляки говорят: у нее глаза пивного цвета. Не правда ли, хорошо?

...Но самое главное то, что этот знаменитый человек, брат мой, украл у меня дочь...

...Я отомщу брату моему.

...Он украл у меня дочь. Ну, не буквально украл, конечно... Не делайте, Кавалеров, больших глаз. И нос бы не мешало вам сделать меньше. С толстым носом вы должны быть знамениты, как герой, чтобы быть счастливым, как простой обыватель. Он оказал на нее моральное воздействие. А ведь за это судить можно? К прокурору, а? Она покинула меня. Я даже не так обвиняю Андрея, как ту сволочь, которая живет при нем.

Он рассказал о Володе.

У Кавалерова на ногах шевелились от смущения большие пальцы.

– ...Этот мальчишка испортил мне жизнь. О, если бы на футболе отбили ему почки! Андрей слушается его во всем. Он, тот мальчишка, видите ли, – новый человек! Мальчишка сказал, что Валя несчастна, потому что я, отец, – сумасшедший и что я (сволочь) систематически свожу ее с ума. Сволочь! Они вместе уговаривали ее. И Валя сбежала. Какая-то подруга приютила ее.

...Я проклял подругу эту. Я пожелал ей, чтоб пищевод ее и прямая кишка поменялись местами. Представляете себе такую картину? Это компания твердолобых...

...женщина была лучшим, прекраснейшим, чистейшим светом нашей культуры. Я искал существо женского пола. Я искал такое существо, в котором соединились бы все женские качества. Я искал завязь женских качеств. Женское – было славой старого века. Я хотел блеснуть этим женским. Мы умираем, Кавалеров. Я хотел, как факел, пронести над головой женщину. Я думал, что женщина потухнет вместе с нашей эрой. Тысячелетия стоят выгребной ямой. В яме валяются машины, куски чугуна, жести, винты, пружины... Темная, мрачная яма. И светятся в яме гнилушки, фосфоресцирующие грибки – плесень. Это наши чувства!

Это все, что осталось от наших чувств, от цветения наших душ. Новый человек приходит к яме, шарит, лезет в нее, выбирает, что ему нужно, – какая-нибудь часть машины пригодится, гаечка, – а гнилушку он затопчет, притушит. Я мечтал найти женщину, которая расцвела бы в этой яме небывалым чувством. Чудесным цветением папоротника. Чтобы новый человек, пришедший воровать наше железо, испугался, отдернул руку, закрыл глаза, ослепленный светом того, что ему казалось гнилушкой.

...Я нашел такое существо. Возле себя. Валю. Я думал, что Валя просияет над умирающим веком, осветит ему путь на великое кладбище. Но я ошибся. Она выпорхнула. Она бросила изголовье старого века. Я думал, что женщина – это наше, что нежность и любовь – это только наше, – но вот... я ошибся. И вот блуждаю я, последний мечтатель земли, по краям ямы, как раненый нетопырь...

Кавалеров подумал: «Я вырву у них Валю». Ему хотелось сказать, что он был свидетелем происшествия в переулке, где цвела изгородь. Но почему-то он удержался.

– Наша судьба схожа, – продолжал Иван. – Дайте мне вашу руку. Так. Приветствую вас. Очень рад вас видеть, молодой человек. Чокнемся. Так вас прогнали, Кавалеров? Расскажите, расскажите. Впрочем, вы уже рассказывали. Очень важное лицо вас выставило? Вы не хотите назвать имени? Ну ладно. Вы очень ненавидите этого человека?

Кавалеров кивает.

– Ах, как понятно мне все, мой милый! Вы, насколько я понял вас, нахамили власть имущему человеку. Не перебивайте меня. Вы возненавидели всеми признанного человека. Вам кажется, конечно, что это он обидел вас. Не перебивайте меня. Пейте.

...вы уверены, что это он мешает вам проявиться, что он захватил ваши права, что там, где нужно, по вашему мнению, господствовать вам, господствует он. И вы беситесь...

В дыму парит оркестр. Лежит бледное лицо скрипача на скрипке.

– Скрипка похожа на самого скрипача, – говорит Иван. – Этот маленький скрипач в деревянном фраке. Слышите? Поет дерево. Слышите голос дерева? Дерево в оркестре поет разными голосами. Но как они скверно играют! Боже, как скверно они играют!

Он оборотился к музыкантам:

– Вы думаете, барабан у вас? Вы думаете, барабан исполняет свою партию? Нет, это бог музыки стучит на вас кулаком.

...мой друг, нас гложет зависть. Мы завидуем грядущей эпохе. Если хотите, тут зависть старости. Тут зависть впервые состарившегося человеческого поколения. Поговорим о зависти. Дайте нам еще пива...

Они сидели у широкого окна.

Еще раз прошел дождь. Был вечер. Город сверкал, точно высеченный из угля кардифа. Люди заглядывали в окно с Самотеки, прижимая носы.

– ...да, зависть. Тут должна разыгаться драма, одна из тех грандиозных драм на театре истории, которые долго вызывают плач, восторги, сожаления и гнев человечества. Вы, сами того не понимая, являетесь носителем исторической миссии. Вы, так сказать, сгусток. Вы сгусток зависти погибающей эпохи. Погибающая эпоха завидует тому, что идет ей на смену.

– Что же мне делать? – спросил Кавалеров.

– Милый мой, тут надо примириться или... устроить скандал. Или надо уйти с треском. Хлопните, как говорится, дверью. Вот самое главное: уйдите с треском. Чтоб шрам остался на морде истории, – блесните, черт вас подери! Ведь все равно вас не пустят туда. Не сдавайтесь без боя... Я хочу вам рассказать один случай из моего детства...

...Был устроен бал. Дети разыгрывали пьесу, исполняли балет на специально устроенной в большой гостиной сцене. И девочка... представляете ли себе? – такая типичная девочка, двенадцати лет, тонконожка в коротком платьице, вся розовая, атласная, расфуфыренная, – ну, знаете, в целом, со своими оборочками, бантами, похожая на цветок, известный

под именем «львиной пасти»; красотка, высокомерная, балованная, потряхивающая локонами, – вот такая девочка хороводила на том балу. Она была королевой. Она делала все, что хотела, все восхищались ею, все шло от нее, все стягивались к ней. Она лучше всех танцевала, пела, прыгала, придумывала игры. Лучшие подарки попали к ней, лучшие конфеты, цветы, апельсины, похвалы... Мне было тринадцать лет, я был гимназистом. Она затерла меня. А между тем я тоже привык к восторгам, я тоже был избалован поклонением. У себя в классе и я главенствовал, был рекордсменом. Я не вытерпел. Я поймал девчонку в коридоре и поколотил ее, оборвал ленты, пустил локоны по ветру, расцарапал прелестную ее физиономию. Я схватил ее за затылок и несколько раз стукнул ее лбом о колонну. В тот момент я любил эту девчонку больше жизни, поклонялся ей – и ненавидел всеми силами. Разодрав красоткины кудри, я думал, что опозорю ее, развею ее розовость, ее блеск, и думал, что исправлю допущенную всеми ошибку. Но ничего не вышло. Позор упал на меня. Я был изгнан. Однако, мой милый, обо мне помнили весь вечер; однако бал я испортил им; однако обо мне говорили везде, где появлялась красотка... Так впервые познал я зависть. Ужасна изжога зависти. Как тяжело завидовать! Зависть сдавливает горло спазмой, выдавливает глаза из орбит. Когда терзал я ее там, в коридоре, жертву пойманную, слезы катились из моих глаз, я захлебывался, – и все-таки я рвал восхитительную ее одежду, содрогаюсь от прикосновения к атласу, – оно вызывало почти оскомины на зубах и губах. Вы знаете, что такое атлас, ворс атласа, – вы знаете, как прикосновение к нему пронизывает позвоночник, всю нервную систему, какие вызывает гримасы! Так все силы восстали на меня в защиту скверной девчонки. Оскомины, яд, таившийся в кустах и корзинах, вытек из того, что казалось таким очаровательно-невинным в гостиной, – из ее платья, из розового, такого сладкого для глаз атласа. Не помню, издавал ли я какие-либо возгласы, совершая свою расправу. Должно быть, я шептал: «Вот тебе месть! Не затирай! Не забирай того, что может принадлежать мне...»

...Вы внимательно прослушали меня? Я хочу провести некоторую аналогию. Я имею в виду борьбу эпох. Конечно, на первый взгляд сравнение покажется легкомысленным. Но вы понимаете меня? Я говорю о зависти.

Оркестранты закончили номер.

– Ну, слава богу, – сказал Иван. – Они умолкли. Смотрите: виолончель. Она блестела гораздо менее до того, как за нее взялись. Долго терзали ее. Теперь она блестит, как мокрая, – прямо-таки освеженная виолончель. Надо записывать мои суждения, Кавалеров. Я не говорю – я высекаю свои слова на мраморе. Не правда ли?..

...Мой милый, мы были рекордсменами, мы тоже избалованы поклонением, мы тоже привыкли главенствовать там... у себя... Где у себя?.. Там, в тускнеющей эпохе. О, как прекрасен поднимающийся мир! О, как разблестается праздник, куда нас не пустят! Все идет от нее, от новой эпохи, все стягивается к ней, лучшие дары и восторги получит она. Я люблю его, этот мир, надвигающийся на меня, больше жизни, поклоняюсь ему и всеми силами ненавижу его! Я захлебываюсь, слезы катятся из моих глаз градом, но я хочу запустить пальцы в его одежду, разодрать. Не затирай! Не забирай того, что может принадлежать мне...

...Мы должны отомстить. И вы и я – нас многие тысячи – мы должны отомстить. Кавалеров, не всегда враги оказываются ветряными мельницами. Иногда то, что так хотелось бы принять за ветряную мельницу, – есть враг, завоеватель, несущий гибель и смерть. Ваш враг, Кавалеров, – настоящий враг. Отомстите ему. Верьте мне, мы уйдем с треском. Мы собьем спеси молодому миру. Мы тоже не лыком шиты. Мы тоже были баловнями истории.

...Заставьте о себе говорить, Кавалеров. Ясно: все идет к гибели, все предначертано, выхода нет, – вам погибать, толстоносый! Каждая минута будет умножать унижения, с каждым днем будет расцветать, как лелеемый юноша, враг. Погибает: это ясно. Так обставьте

ж свою гибель, украсьте ее фейерверком, порвите одежду тому, кто затирает вас, попрощайтесь так, чтоб ваше «до свиданья» раскатилось по векам.

Кавалеров подумал: «Он читает мои мысли».

– Вас обидели? Вас выгнали?

– Меня страшно обидели, – горячо сказал Кавалеров, – меня долго унижали.

– Кто обидел вас? Один из избранников эпохи?

«Ваш брат, – хотел крикнуть Кавалеров, – тот же, кто обидел и вас». Но он промолчал.

– Вам повезло. Вы не знаете в лицо завоевателя. У вас есть конкретный враг. И у меня тоже.

– Что же мне делать?

– Вам повезло. Вы расплату за себя можете соединить с расплатой за эпоху, которая была вам матерью.

– Что же мне делать?

– Убейте его. Почетно оставьте о себе память как о наемном убийце века. Прищемите вашего врага на пороге двух эпох. Он кичится, он уже там, он уже гений, купидон, вьющийся со свитком у ворот нового мира, он уже, задрал нос, не видит вас, – тресните его на прощанье. Благословляю вас. И я (Иван поднял кружку), и я тоже уничтожу своего врага. Выпьем, Кавалеров, за «Офелию». Это орудие моей мести.

Кавалеров открыл рот, чтобы сообщить главное: у нас общий враг, вы благословили меня на убийство вашего брата, – но не сказал ни слова, потому что к столу их подошел человек, пригласивший Ивана немедленно и не задавая вопросов следовать за ним. Он был арестован, о чем известно из предыдущей главы.

– До свидания, мой милый, – сказал Иван, – меня ведут на Голгофу. Пойдите к дочке моей (он назвал переулочек, уже давно блиставший в памяти Кавалерова), пойдите и посмотрите на нее. Вы поймете, что если такое создание изменило нам, то остается одно: месть.

Он допил пиво и пошел впереди таинственного человека на шаг.

По дороге подмигивал он посетителям, расточал улыбки, заглянул в раструб кларнета и у самых дверей повернулся и, держа котелок в вытянутой руке, продекламировал:

Ведь я не шарлатан немецкий,
И не обманщик я людей!
Я – скромный фокусник советский,
Я – современный чародей!

V

– Что ты смеешься? Ты думаешь, я хочу спать? – спросил Володя.

– Да я не смеюсь. Я кашляю.

И Володя снова засыпал, добравшись до стула.

Молодой уставал раньше. Тот, старший – Андрей Бабичев, – был гигант. Он работал день, работал половину ночи. Андрей ударял кулаком по столу. Абажур на лампе подскакивал, как крышка на чайнике, но тот спал. Абажур прыгал. Андрей вспоминал: Джемс Уатт смотрит на крышку чайника, прыгающую над паром.

Известная легенда. Известная картинка.

Джемс Уатт изобрел паровую машину.

– Что же ты изобретаешь, мой Джемс Уатт? Какую машину изобретаешь ты, Володя? Какую новую тайну природы обнаружишь ты, новый человек?

И тут начинался разговор Андрея Бабичева с самим собой. На самое короткое время бросал он работу и, глядя на спящего, думал:

«А может быть, Иван прав? Может быть, я просто обыкновенный обыватель и семейное живет во мне? Потому ли он дорог мне, что с детских лет живет со мною, я просто привык к нему, полюбил, как сына? Только ли потому? Так ли просто? А если бы был он тупица? То, ради чего я живу, сосредоточилось в нем. Мне посчастливилось. Жизнь нового человечества далека. Я верю в нее. И мне посчастливилось. Вот он заснул так близко от меня, прекрасный мой новый мир. Новый мир живет в моем доме. Я души в нем не чаю. Сын? Опора? Закрыватель век? Неправда! Не это мне нужно! Я не хочу умирать на высокой постели, на подушках. Я знаю – масса, а не семья примет мой последний вздох. Чепуха! Как мы лелеем тот новый мир, так я лелею его. И он дорог мне, как воплотившаяся надежда. Я выгоню его, если обманусь в нем, если он не новый, не совсем отличный от меня, потому что я еще стою по брюхо в старом и уже не вылезу. Я выгоню его тогда: мне не нужен сын, я не отец, и он не сын, мы не семья. Я тот, что верил в него, а он тот, что оправдал веру.

Мы не семья, мы – человечество.

Значит, что же? Значит, человеческое чувство отеческой любви надо уничтожить? Почему же он любит меня, он, новый? Значит, там, в новом мире, будет тоже цвести любовь между сыном и отцом? Тогда я получаю право ликовать; тогда я вправе любить его и как сына и как нового человека. Иван, Иван, ничтожен твой заговор. Не все чувства погибнут. Зря ты бесишься, Иван!»

Давным-давно, в темную ночь, проваливаясь в овраги, по колена в звездах, спугивая звезды с кустарников, бежали двое: комиссар и мальчик. Мальчик спас комиссара. Комиссар был огромен, мальчик – крошка. Увидевшие подумали б: бежит один – великан, припадающий к земле, и мальчика приняли б за ладонь великана.

Они соединились навсегда.

Мальчик жил при великане, рос, вырос, стал комсомольцем и стал студентом. Он родился в железнодорожном поселке, был сын ремонтного литейного рабочего.

Его полюбили товарищи, его полюбили взрослые. Его иногда беспокоило то, что он всем нравится, – это порой казалось ему незаслуженным и ошибочным. Чувство товарищества было в нем самым сильным. Как бы заботясь о каком-то равновесии и пытаясь исправить какую-то неправильность, допущенную природой в распределении даров, он иногда прибегал даже к ухищрениям с целью как-нибудь сгладить впечатление о себе, снизить его, спешил потушить свой блеск.

Ему хотелось вознаградить менее удачливых сверстников своей преданностью, готовностью к самопожертвованию, пылким проявлением дружбы, отысканием в каждом из них замечательных черт и способностей. Его общество толкало товарищей к соревнованию.

– Я думал, почему злятся люди или обижаются, – сказал он. – У таких людей нет понятия о времени. Тут незнакомство с техникой. Время – ведь это тоже понятие техническое. Если бы все были техниками, то исчезли бы злоба, самолюбие и все мелкие чувства. Ты улыбаешься? Понимаешь ли: нужно понимать время, чтобы освободиться от мелких чувств. Обида, скажем, продолжается час или год. У них хватает воображения на год. А на тысячу лет они не разгонятся. Они видят только три-четыре деления на циферблате, ползут, тычутся... Куда им! Всего циферблата не охватят. Да вообще: скажи им, что есть циферблат, – не поверят!

– Так почему же только мелкие чувства? Ведь и высокие чувства коротки. Ну... великодушные?

– Видишь ли. Ты меня вот послушай. В великодушии есть какая-то правильность... техническая. Ты не улыбайся. Да, да. Нет, в самом деле... я, кажется, запутался. Ты меня смущаешь. Нет, подожди! Революция была... ну, как? Конечно, очень жестокая. Хо! Но ради чего она злобствовала? Была она великодушна, верно? Добра была – для всего циферблата... Верно? Надо обижаться не в промежутке двух делений, а во всем круге циферблата... Тогда нет разницы между жестокостью и великодушием. Тогда есть одно: время. Железная, как говорится, логика истории. А история и время одно и то же, двойники. Не смейся, Андрей Петрович. Я говорю: главным чувством человека должно быть понимание времени.

Он сказал также:

– Я собью спеси буржуазному миру. Они издеваются над нами. Старики брюзжат: где ваши новые инженеры, хирурги, профессора, изобретатели? Я соберу большую группу товарищей, человек сто. Мы организуем союз. По сбиванию спеси буржуазному миру. Ты думаешь, я хвастаю? Ты ничего не понимаешь. Я вовсе не заносюсь. Мы будем работать как звери. Вот увидишь. К нам приедут кланяться. И Валя будет в этом союзе.

Он проснулся.

– Видел сон, – засмеялся он, – будто я с Валькой сидим на крыше и смотрим в телескоп на луну.

– Что? А? Телескоп?

– И я ей говорю: «Вон там, внизу, „море кризисов“. А она спрашивает: „Море крыс?“»

В тот год весной Володя уехал на короткий срок повидаться с отцом в город Муром. Отец работал в муромских паровозостроительных мастерских. Прошло два дня разлуки, и в ночь на третий день ехал Андрей домой. На повороте шофер уменьшил скорость, светало, и Андрей увидел лежащего под стеной человека.

Напоминание об отсутствующем слетело к нему с того, лежащего на решетке. Оно приказало ему дернуться и нагнуться к шоферу. «Да ничего же нет между ними общего!» – едва не воскликнул Андрей. И действительно, никакого не было сходства между лежащим и отсутствующим. Просто он живо представил себе Володю. Он подумал: «А вдруг что-либо заставило Володю принять такую же жалкую позу». И просто он сделал глупость, дал разыграться чувствительности. Машина остановилась.

Николай Кавалеров был поднят, были выслушаны бредовые его слова.

Андрей привез его к себе, втащил на третий этаж и уложил на диване Володи, устроил ему постель и укрыл пледом по шею; тот лежал навзничь с вафельным следом решетки на щеке. Хозяин отошел ко сну в благодушии: диван не пустовал.

В ту же ночь ему приснилось, что молодой человек повесился на телескопе.

VI

В комнате Анечки Прокопович стояла замечательная кровать – из дорогого, покрытого темно-вишневым лаком дерева, с зеркальными арками на внутренней стороне спинок.

Однажды, в глубоко мирный год, на народном гулянье, под звуки фанфар, обсыпaeмый конфетти, взошел на деревянный помост Анечкин муж и, предъявив лотерейный билет, получил от распорядителя квитанцию на право владения замечательной кроватью. Ее увезли гужевым способом. Свистали мальчишки.

Голубое небо отражалось в движущихся зеркальных арках, точно открывались и медленно опускались веки прекрасных глаз.

Семейство жило, развалилось, – кровать прошла через все невзгоды.

Кавалеров живет в углу за кроватью. Он пришел к Анечке и сказал:

– Тридцать рублей в месяц я могу вам платить за угол.

Анечка, протяжно улыбнувшись, согласилась.

Деваться ему было некуда. В его прежней комнате крепко поселился новый жилец. Страшную кровать Кавалеров продал за четыре рубля, и она со стенами покинула его.

На орган походила Анечкина кровать. Полкомнаты было занято ею. Вершины ее таяли в сумраке потолка.

Кавалеров думал:

«Будь я ребенок, Анечкин маленький сын, – сколько поэтических, волшебных построений создал бы мой детский ум, отданный во власть зрелищу такой необычайной вещи! Теперь я взрослый, и теперь лишь общие контуры и лишь кой-какие детали улавливаю я, а тогда я умел бы...»

...А тогда, не подчиняясь ни расстояниям, ни масштабам, ни времени, ни весу, ни тяготению, я ползал бы в коридорах, образовавшихся от пустоты между рамой пружинного матраца и бортами кровати; таился бы за колоннами, что теперь кажутся мне не больше мензурок; воображаемые катапульты устанавливал бы на барьерах ее и стрелял бы по врагам, теряющим силы в бегстве по мягкой, засасывающей почве одеяла; устраивал бы под зеркальной аркой приемы послов, как король только что прочитанного романа; отправлялся бы в фантастические путешествия по резьбе – все выше и выше – по ногам и ягодицам купидонов, лез бы по ним, как лезут по статуе Будды, не умея охватить ее взором, и с последней дуги, с головокружительной высоты, срывался бы в страшную пропасть, в ледовитую пропасть подушек...»

Иван Бабичев ведет Кавалерова по зеленому валу... Одуванчики летят из-под ног, плывут, – и плавание их есть динамическое отображение зноя... От зноя Бабичев бледнеет. Полное лицо его блестит, зной точно лепит маску с его лица.

– Сюда! – командует он.

Окраина цветет.

Они пересекают пустырь, идут вдоль заборов; овчарки бьются за заборами, гремят цепями. Кавалеров свистит, дразня овчарок, – но все возможно: вдруг какая-нибудь словчится, порвет цепь и перемахнет через забор, – и поэтому капсюля жути растворяется где-то под ложечкой у дразнящего.

Путники спускаются по зеленеющей покатоности, почти на крыши красных домиков, на верхушки садов. Местность Кавалерову незнакома, и, даже видя перед собой Крестовские башни, он не может ориентироваться. Доносятся свистки паровозов, железнодорожный лязг.

– Я покажу вам мою машину, – говорил Иван, оглядываясь на Кавалерова. – Ущипните-ка себя... так... еще раз... и еще раз... Не сон? Нет? Помните: вы не спали. Помните: все было просто, мы шли с вами через пустырь, блестела никогда не высыхающая лужа, на частокол надеты были горшки; запомните, мой друг, замечательные вещи можно было отметить в мусоре по пути, под заборами в канавах: например, смотрите, – листок из книги, – нагнитесь, посмотрите, пока не унес его ветер, – видите, – иллюстрации к «Тарасу Бульбе», узнаете? Должно быть, из того вот окошка выбросили обертку от чего-то съестного, и попал листок сюда. Далее – это что? Вечный традиционный башмак в канаве? Не стоит обращать на него внимания – это слишком академический образ запустения! Далее – бутылка... подождите, она еще цела, но завтра раздавит ее колесо телеги, и если вскоре после нас еще какой-нибудь мечтатель пройдет по нашему пути, то получит он полное удовольствие от созерцания знаменитого бутылочного стекла, знаменитых осколков, прославленных писателями за свойство внезапно вспыхивать среди мусора и запустения и создавать одиноким путникам всякие такие миражи... Наблюдайте, мой друг, наблюдайте... Вот пуговицы, обручи, вот лоскут бинта, вот вавилонские башенки окаменелых человеческих испражнений... Словом, друг мой, – обычный рельеф пустыря... Запоминайте. Все просто было. И я вел вас, чтобы показать вам свою машину. Ущипните себя. Так. Значит, не сон? Ну, ладно. А то потом – я знаю, что будет потом, – вы скажете, что вам нездоровилось, что слишком было жарко, что, возможно, многое просто почудилось вам от жары, усталости и так далее. Нет, мой друг, я требую, чтобы вы подтвердили, что вы находитесь в самом нормальном состоянии. То, что вы сейчас увидите, может ошеломить вас слишком сильно.

Кавалеров подтвердил:

– Я нахожусь в самом нормальном состоянии.

И был забор, дощатый невысокий заборчик.

– Она там, – сказал Иван. – Обождите. Присядем. Вот сюда, над оврачком. Я говорю вам: моей мечтой была машина машин, универсальная машина. Думал я о совершенном оружии, надеялся я в одном небольшом аппарате сконцентрировать сотни различных функций. Да, мой друг. Прекрасная, благородная задача. Ради этого стоило стать фанатиком: у меня была мысль укротить мастодонта техники, сделать его ручным, домашним... Дать человеку такой рычажок, простой, знакомый, который не испугал бы его, был бы привычным, как дверная задвижка...

– Я ничего не понимаю в механике, – молвил Кавалеров, – я боюсь машин...

– И мне удалось. Слушайте меня, Кавалеров. Я изобрел такую машину.

(Забор манил, и, однако, вероятнейше допускалось, что никакой тайны нет за серыми обычными досками.)

– Она может взрывать горы. Она может летать. Она поднимает тяжести. Она дробит руду. Она заменяет кухонную плиту, детскую коляску, дальнобойное орудие... Это сам гений механики...

– Отчего вы улыбаетесь, Иван Петрович?

(Иван поигрывал уголком глаза.)

– Я цвету. Я не могу говорить о ней без того, чтобы сердце мое не прыгало, как яйцо в кипятке. Слушайте меня. Я наделил ее сотней умений. Я изобрел машину, которая умеет делать все. Понимаете ли вы? Сейчас вы увидите, но...

Он встал и, положив ладонь на плечо Кавалерова, торжественно сказал:

– Но я запретил ей. В один прекрасный день я понял, что мне дана сверхъестественная возможность отомстить за свою эпоху... Я развратил машину. Нарочно. Назло.

Он рассмеялся счастливым смехом.

– Нет, вы поймите, Кавалеров, какое великое удовлетворение. Величайшее создание техники я наделил пошлейшими человеческими чувствами! Я опозорил машину. Я отомстил

за мой век, давший мне тот мозг, который лежит в моем черепе, мой мозг, придумавший удивительную машину... Кому ее оставить? Новому миру? Они жрут нас, как пищу, – девятнадцатый век втягивают они в себя, как удав втягивает кролика... Жуют и переваривают. Что на пользу – то впитывают, что вредит – выбрасывают... Наши чувства выбрасывают они, нашу технику – впитывают! Я мщу за наши чувства. Они не получают моей машины, не используют меня, не впитают моего мозга... Моя машина могла бы осчастливить новый век, сразу, с первых же дней, ввести в расцвет техники. Но вот – они не получают ее! Машина моя – это ослепительный кукиш, который умирающий век покажет рождающемуся. У них слюнки потекут, когда они увидят ее... Машина – подумайте – идол их, машина... и вдруг... И вдруг лучшая из машин оказывается лгуньей, пошлячкой, сентиментальной негодяйкой! Идемте... я покажу вам... Она, умеющая делать все, – она поет теперь наши романсы, глупые романсы старого века, и старого века собирает цветы. Она влюбляется, ревнует, плачет, видит сны... Я сделал это. Я насмеялся над божеством этих грядущих людей, над машиной. И я дал ей имя девушки, сошедшей с ума от любви и отчаяния, – имя Офелии... Самое человеческое, самое трогательное...

Иван повлек Кавалерова за собой.

Иван приник к щелке, выставив на Кавалерова лоснившийся медный зад, – ни дать ни взять две гири. Быть может, действительно влияла жара, непривычная захолустная пустота, новизна ландшафта, неожиданного для Москвы, быть может, действительно сказывалась усталость, но только Кавалеров, оставшись один в безлюдье и отдаленности от узаконенных городских шумов, поддался кое-какому миражу, кое-какой слуховой галлюцинации. Как будто послышался голос Ивана, разговаривавшего с кем-то через щелку. Затем Иван отпрянул. И то же сделал Кавалеров, хотя и стоял на порядочном расстоянии от Ивана, – как если бы испуг прятался где-то в противоположных деревьях и держал обоих на одной ветке, которую и дернул.

– Кто свистит? – звенящим от страха голосом закричал Кавалеров.

Пронзительный свист пролетел над окрестностью. Кавалеров на миг отвернулся, пряча лицо ладонями, как отворачиваются на сквозняке. Иван бежал от забора на Кавалерова – будто сея шажки, – свист летел за ним, как будто Иван не бежал, а скользил, нанизанный на ослепительный свистовой луч.

– Я боюсь ее! Я боюсь ее! – услышал Кавалеров задыхающийся шепот Ивана.

Схватившись за руки, они побежали вниз, сопровождаемые проклятиями встревоженного бродяги, которого сперва с высоты приняли за брошенную кем-то старую сбрую...

Бродяга, вырванный охапкой из сна, сидел на кочке, шаря в траве – искал камень. Они скрылись в улочку.

– Я боюсь ее, – быстро говорил Иван. – Она ненавидит меня... Она изменила мне... Она убьет меня...

Кавалеров, пришедши в себя, устыдился своего малодушия. Он вспомнил, что тогда же, когда увидел он обратившегося в бегство Ивана, еще нечто предстало его зрению, чего, испуганный, он не успел запечатлеть.

– Слушайте, – сказал он, – какая чепуха! Просто мальчик свистел в два пальца. Я видел. Мальчик появился на заборе и свистел... Ну да, мальчик...

– Я же говорил вам, – улыбнулся Иван, – я же говорил, что вы начнете искать всяких объяснений. Я же просил вас: ущипните себя побольнее.

Произошла ссора. Иван свернул в обретенную с трудом пивную. Он не приглашал Кавалерова. Тот поплелся, не зная пути, выискивая слухом трамвайный звон. Но на ближайшем углу, топнув ногой, Кавалеров повернул в пивную. Иван встретил его улыбкой и ладонью, направленной к стулу.

– Ну скажите же, – взмолился Кавалеров. – Ну ответьте мне, для чего вы мучите меня? Зачем вы обманываете нас? Ведь нет же никакой машины! Не может же быть такой машины! Это ложь и бред! Зачем вы врете нам?

В изнеможении Кавалеров опустил на стул.

– Послушайте, Кавалеров. Закажите себе пива, и я расскажу вам сказку. Слушайте.

СКАЗКА О ВСТРЕЧЕ ДВУХ БРАТЬЕВ

...Нежный, растущий остов «Четвертака» окружали леса.

Леса как леса: балки, ярусы, лестницы, ходы, переходы, навесы, – но разные были в толпе, собравшейся у подножия, характеры и глаза. Разным сходством улыбались люди. Одни были склонны к простоте и говорили: постройка заштрихована. Некто заметил:

– Деревянными сооружениям не положено расти слишком высоко. Глаз не уважает высоко вознесшихся досок. Леса уменьшают величие постройки. Самая высокая мачта кажется легко подверженной гибели. Такая громада дерева нежна, несмотря ни на что. Сразу напрашивается мысль о пожаре.

Другой воскликнул:

– А с другой стороны – смотрите! – брусья вытянулись, как струны. Гитара, прямо-таки гитара!

На что предыдущий заметил:

– Ну вот, я ж говорил о нежности дерева. Удел его – служить музыке.

Тогда вмешался чей-то насмешливый голос:

– А медь? Я, например, признаю только духовые инструменты.

Школьник узнал в расположении досок не замеченную никем арифметику, но определить, к чему относятся кресты умножения и куда ведут знаки равенства, он не успел: сходство мгновенно исчезло, оно было шаткое.

«Осада Трои, – подумал поэт. – Осадные башни».

И сравнение подкрепилось появлением музыкантов. Прикрываясь трубами, они поползли в деревянную какую-то траншею, к подножию постройки.

Был черен вечер, белы и шаровидны фонари, необычайно алели полотнища, провалы под деревянными сходнями были смертельно черны. Раскачивались, звеня проволоками, фонари. Тень как бы взмахивала бровями. Вокруг фонарей летала и гибла мошкара. Издалека, заставляя мигать попутные окна, неслись сорванные фонарями контуры окрестных домов и кидались на постройку, – и тогда (до тех пор, пока не успокаивался раскаченный ветром фонарь) бурно оживали леса, все приходило в движение – и, как многоярусный парусник, плыла на толпу постройка.

К подножию постройки прошел по дереву и на дерево Андрей Бабичев. Сама собой строилась там трибуна. Оратор получал и лестницу, и помост, и поручень, и ослепительный черный фон позади себя, и прямо на себя – свет. Так много было дано свету, что и далекие наблюдатели видели уровень воды в графине на столе президиума.

Бабичев двигался над толпой, очень цветной и блестящей, вроде как жестяной, похожий на электрическую фигурку. Он должен был произнести речь. Внизу, в естественно образовавшемся прикрытии, готовились к представлению актеры. Сладко, невидимый и непонятный толпе, завывал гобой. И непонятен был ставший серебряным от резкости освещения диск барабана, повернутого на толпу лицом. В деревянном ущелье украшались актеры. Каждый шаг проходящего наверху двигал над ними доски и сеял туманом опилки.

Появление на трибуне Бабичева развеселило публику. Его приняли за конференсье. Он был слишком свеж, умышен, театрален по внешности.

– Толстый! Вот так толстый! – восхитился в толпе один.

– Bravo! – заорали в разных местах.

Но – «Слово предоставляется товарищу Бабичеву», – сказали из президиума; и от смешливости не осталось следа. Многие поднялись на носки. Внимание напрягалось. И каждому стало приятно. Было очень приятно видеть Бабичева по двум причинам: первая – он был известный человек, и вторая – он был толст. Толщина делала знаменитого человека своим. Бабичеву устроили овацию. Половина аплодисментов приветствовала его толщину. Он сказал речь.

Он говорил о том, какова будет деятельность «Четвертака»: столько-то и столько-то обедов, такая-то пропускная способность, такой-то процент питательности и – какие выгоды от коммунального питания.

Он говорил о питании детей: что, мол, в «Четвертаке» будет детское отделение, о научном приготовлении молочной каши, о росте детей, позвоночнике, малокровии. Он, как всякий оратор, смотрел вдаль, поверх передней массы зрителей, и потому до самого конца своей речи оставался безучастным к тому, что происходило внизу, под трибуной. А между тем некий человек в котелке уже давно расстроил внимание передних зрителей, – те уже не слушали оратора, всецело занятые поведением человека, которое, впрочем, было совершенно мирным. Он, правда, рискнул, отъединившись от толпы, перебраться за веревку, ограждающую подступы к трибуне; он, правда, стоял обособленно, что явно показывало какие-то его права, либо действительно ему принадлежавшие, либо просто захваченные им... Он – спиной к публике – стоял, опершись на веревку, вернее, полусидел на веревке, свесив через нее зад, и, не заботясь о том, что полный произойдет беспорядок, если веревка оборвется, преспокойно и, видимо, получая удовольствие, раскачивался себе на веревке.

Он, быть может, слушал оратора или, возможно, наблюдал за актерами. Вспыхивало за перекладинами платье балерины, выглядывали в деревянное окошечко разные смешные рожи.

И... Да! Ведь главное-то было что? Ведь он, чудаковатый этот человек, пришел с подушкой. Он нес большую, в желтом напернике, старую, высланную многими головами подушку и, устроившись на веревке, опустил подушку на землю, – и села подушка рядом, как свинья.

И когда оратор окончил речь и, вытирая платком губы, другой рукой наливал из графина воду, пока затихали аплодисменты и публика переключала внимание, готовая слушать и смотреть актеров, – человек с подушкой, поднявши с веревки зад, встал во весь свой маленький рост, вытянул руку с подушкой и громко закричал:

– Товарищи! Я прошу слова!

Тогда оратор увидел брата своего Ивана. Кулаки у него сжались. Брат Иван стал подниматься по лестнице на трибуну. Он всходил медленно. Человек из президиума подбежал к барьеру. Он должен был жестами и голосом остановить незнакомца, но рука его повисла в воздухе, и, точно отсчитывая шаги незнакомца по ступенькам, рука эта опускалась толчками.

– Раз... два... пять... эть...

– Это гипноз! – взвизгнули в толпе.

А неизвестный шел, неся за шиворот подушку. И вот он на трибуне. Замечательная электрическая фигурка появилась на черном фоне. Аспидной доской чернел фон. Так был черен фон, что даже меловые линии чудились на нем, мерцало в глазах. Фигурка остановилась.

– Подушка! – шепотом прошло в толпе.

И незнакомец заговорил:

– Товарищи! От вас хотят отнять главное ваше достояние: ваш домашний очаг. Кони революции, гремя по черным лестницам, давя детей наших и кошек, ломая облюбованные

нами плитки и кирпичи, ворвутся в ваши кухни. Женщины, под угрозой гордость ваша и слава – очаг! Слонами революции хотят раздавить кухню вашу, матери и жены!

...Что говорил он? Он издевался над кастрюлями вашими, над горшочками, над тишиной вашей, над правом вашим всовывать соску в губы детей ваших... Он учит вас забывать что? Что хочет вытолкнуть он из сердца вашего? Родной дом – дом, милый дом! Бродягами по диким полям истории он хочет вас сделать. Жены, он плюет в суп ваш. Матери, он мечтает с личик младенцев ваших стереть сходство с вами – священное, прекрасное семейное сходство. Он врывается в закоулки ваши, шмыгает, как крыса, по полкам, залазит под кровати, под сорочки, в волосы подмышек ваших. Гоните его к черту!.. Вот подушка. Я король подушек. Скажите ему: мы хотим спать каждый на своей подушке. Не трогай подушек наших! Наши еще не оперившиеся, куриным пухом рыжеющие головы лежали на этих подушках, наши поцелуи попадали на них в ночи любви, на них мы умирали, – и те, кого мы убивали, умирали на них. Не трогай наших подушек! Не зови нас! Не мани нас, не соблазняй нас. Что можешь ты предложить нам взамен нашего умения любить, ненавидеть, надеяться, плакать, жалеть и прощать?.. Вот подушка. Герб наш. Знамя наше. Вот подушка. Пули застревают в подушке. Подушкой задушим мы тебя...

Его речь оборвалась. И то он сказал слишком много. Его как будто схватили за последнюю фразу, как можно схватить за руку, – фразу его загнули ему за спину. Он осекся, внезапно испугавшись, и повод для испуга был именно в том, что тот, кого громил он, стоял молча, слушал. Сцена вся и впрямь могла сойти за представление. Так многие и поняли. Часто ведь актеры появляются из публики. И тем более высыпали из деревянного сарайчика настоящие актеры. Да, бабочкой, не чем иным, выпорхнула из-за досок балерина. Эксцентрик в обезьяньем жилете лез на трибуну, цепляясь одной рукой за перекладины, а в другой держа странного вида музыкальный инструмент – длинную трубу с тремя раструбами; и так как всего можно было ожидать от человека в обезьяньем жилете и рыжем парике, то легко получалось впечатление, что лезет он каким-то волшебным способом по этой самой трубе. Некто во фраке метался под трибуной, ловя разбегающихся актеров, а те стремились увидеть необычайного оратора. Да ведь и актеры предположили тоже, что кто-то из эстрадников, приглашенный участвовать в концерте, придумал трюк, пришел с подушкой, вступил в спор с докладчиком, а сейчас начнет обычный свой номер. Но нет. Но в страхе съехал по дурацкой трубе эксцентрик! И начиналась тревога. Но не слова, пышно брошенные незнакомцем в толпу, посеяли волнение. Напротив, речь человека воспринялась как умышленная, именно как эстрадный трюк; а вот наступившее молчание зашевелило волосы под многими шапками.

– Чего ты на меня смотришь? – спросил человек, роняя подушку.

Голос великана (никто не знал, что брат говорит с братом), короткий выкрик великана слышала вся площадь, окна, подъезды, на кроватях приподнялись старики.

– Против кого ты воюешь, негодяй? – спросил великан. Его лицо набрякло. Казалось, потечет из лица этого, как из бурдюка, отовсюду – из ноздрей, губ, ушей, – выступит из глаз какая-то темная жидкость, и все в ужасе закроют глаза... Не он сказал это. Это сказали доски вокруг него, бетон, скрепы, линии, формулы, обретшие плоть. Это их гнев распирает его.

Но брат Иван не попятился (даже все ожидали: пятась и пятась, сядет он на свою подушку) – напротив: вдруг он окреп, выпрямился, подошел к барьеру, устроил ладонь козырьком над глазами и позвал:

– Где ты? Я жду тебя! Офелия!

Налетел ветер. Порывы, впрочем, повторялись все время, качали фонари. К соединениям и распаду фигур тени (квадратов, пифагоровых штанов, гиппократовых луночек) уже привыкли присутствовавшие, – постоянно срывался с якорей и шел на толпу многоярусный парусник постройки, – так что новый порыв, повернувший многих за плечи, пригнувший

многие головы, был бы встречен обыкновенным недовольством и был бы немедля забыт, если бы не... И говорилось потом: оно пролетело над головами, оно вылетело сзади.

Плыл на толпу гигантский парусник, скрипя деревом, воя ветром, и черное летучее тело – как птица о снасти – ударилось о высокую балку, метнулось, разбив фонарь...

– Страшно тебе, брат? – спросил Иван. – Я вот что сделаю. Я пошлю ее на леса. Она разрушит твою постройку. Сами собой развинтятся винты, отпадут гайки, бетон развалится, как прокаженное тело. Ну? Она научит каждую балку, как не слушаться тебя. Ну? Все рухнет. Она превратит каждую цифру твою в бесполезный цветок. Вот, брат Андрей, что я могу сделать...

– Иван, ты тяжело болен. Ты бредишь, Иван, – вдруг мягко и сердечно заговорил тот, от которого ждали грозы. – О ком ты говоришь? Кто это «она»? Я ничего не вижу! Кто превратит мои цифры в цветы? Просто ветром толкнуло фонарь о балку, просто разбился фонарь. Иван, Иван...

И брат шагнул к Ивану, протягивая руки. Но тот отстранил его.

– Смотри! – воскликнул он, поднимая руку. – Нет, ты не туда смотришь... Вот-вот... левее... Видишь? Что это сидит там, на балочке? Видишь? Выпей воды. Налейте товарищу Бабичеву воды... Что это присело там на жердочку? Видишь?! Веришь?! Боишься?!

– Это тень! – сказал Андрей. – Брат, это просто тень. Идем отсюда. Я подвезу тебя. Пусть начинается концерт. Актеры томятся. Публика ждет. Едем, Ваня, едем.

– Ах, тень? Это не тень, Андрюша. Это машина, над которой ты смеялся... Это я сижу на жердочке, Андрюша, я, старый мир, век мой сидит там. Мозг моего века, Андрюша, умевший сочинять и песни и формулы. Мозг, полный снами, которые ты хочешь уничтожить.

Иван поднял руку и крикнул:

– Иди, Офелия! Я посылаю тебя!

И то, присевшее на балку, блеснув при повороте, повернулось, застучало, топчась, как стучит птица, и стало исчезать в темном провале между скрещений.

Была паника, давка, люди бежали, вопя. А оно лязгало, пробираясь по доскам. Вдруг выглянуло оно снова, испустив апельсинового цвета луч, посвистало – неуловимое по форме – и невесомой тенью, по-паучьи, сигануло по отвесу выше, в хаос досок, снова присело на каком-то ребре, оглянулось...

– Действуй, Офелия! Действуй! – кричал Иван, носясь по трибуне. – Ты слышала, что он говорит об очаге? Я приказываю тебе разрушить постройку...

Бежали люди, и бегство их сопровождалось бегством туч, бурной фугой неба.

«Четвертак» рухнул...

Рассказчик умолк...

...Барабан плашмя лежал среди развалин, и на барабан вскарабкался я, Иван Бабичев. Офелия спешила ко мне, волоча раздавленного, умирающего Андрея.

– Пусти меня на подушку, брат, – шептал он. – Я хочу умереть на подушке. Я сдаюсь, Иван...

Я положил на колени подушку, он приник к ней головой.

– Мы победили, Офелия, – сказал я.

VII

Утром в воскресенье Иван Бабичев посетил Кавалерова.

– Сегодня я хочу вам показать Валю, – торжественно заявил он.

Они отправились. Прогулку можно было назвать очаровательной. Она совершалась по пустому праздничному городу. Они пошли в обход на Театральную площадь. Движения почти не было. Голубел подъем по Тверской. Воскресенье утром – один из лучших видов московского лета. Освещение, не разрываемое движением, оставалось целым, как будто солнце только что взошло. Таким образом, они шли по геометрическим планам света и тени, вернее: сквозь стереоскопические тела, потому что свет и тень пересекались не только по плоскости, но и в воздухе. Не доходя до Моссовета, они очутились в полной тени. Но в пролет между двумя корпусами выпал большой массив света. Он был густ, почти плотен, здесь уже нельзя было сомневаться в том, что свет материален: пыль, носившаяся в нем, могла сойти за колебание эфира.

И вот переулочек, соединяющий Тверскую с Никитской. Они постояли, любуясь цветущей изгородью.

Они вошли в ворота и поднялись по деревянной лестнице на застекленную галерею, запущенную, но веселую от обилия стекол и вида на небо сквозь решетчатость этих стекол.

Небо разбивалось на пластинки разной синевы и приближенности к зрителю. Четверть всех стекол была выбита. В нижний ряд окошечек пролезали зеленые хвостики какого-то растения, ползущего снаружи по борту галереи. Здесь все было рассчитано на веселое детство. В таких галереях водятся кролики.

Иван стремился к двери. Три двери было в галерее. Он шел к последней.

На ходу Кавалеров хотел оторвать один из зеленых хвостиков. Едва он дернул, как вся невидимая за бортом система потянулась за хвостиком, и где-то простонала какая-то проволока, впутавшаяся в жизнь этого плюща или черт его знает чего. (Как будто не в Москве, а в Италии...) Делая усилие, Кавалеров припал к окну виском и увидел двор, огражденный каменной стеной. Галерея находилась на высоте, средней между вторым и третьим этажом. С такой высоты за стеной ему открылся (Италия продолжалась) вид на страшно зеленую площадку.

Еще входя на крыльцо, он слышал голоса и смех. Они неслись с той площадки. Он ничего не успел разобрать, его отвлек Иван. Он стучал в дверь. Один, два, еще раз...

– Никого нет, – промычал он. – Она уже там...

Внимание Кавалерова осталось у выбитого стекла над лужайкой. Почему? Ведь пока еще ничего удивительного не прошло перед его глазами. Он захватил, повернувшись на стук Ивана, только одну стопу такого-то пестрого движения, один удар гимнастического ритма. Просто приятной, сладкой и холодной для зренья была зелень лужайки, неожиданная после обыкновенного двора. По всей вероятности, уже позже он уверил себя, что очарование лужайки сразу так сильно захватило его.

– Она уже ушла! – повторил Бабичев. – Позвольте-ка...

И он посмотрел в одно из окошечек. Кавалеров не замедлил сделать то же.

То, что произвело на него впечатление лужайки, оказалось маленьким, поросшим травой двориком. Главная сила зелени исходила от высоких густокронных деревьев, стоявших по бокам его. Вся зелень эта цвела под громадной глухой стеной дома. Кавалеров был наблюдателем сверху. В его восприятии дворик был тесно. Вся окрестность, потянувшаяся за высокой точкой наблюдения, взгромодилась над двориком. Он лежал, как половик в комнате, полной мебели. Чужие крыши открывали Кавалерову свои тайны. Он увидел флюгера в натуральную величину, слуховые окошечки, о которых внизу никто и не подозревает, и

навсегда не возвратимый детский мяч, некогда слишком высоко взлетевший и закатившийся под желоб. Строения, обгвожденные антеннами, уходили по ступеням от дворика. Головка церкви, свежеекрашенная суриком, попала в пустой промежуток неба и, казалось, летела до тех пор, пока Кавалеров не поймал ее взглядом. Он видел коромысло трамвайной мачты с тридевятой улицы, и какой-то другой наблюдатель, высунувшийся из далекого окна и что-то нюхавший или евший, покорившись перспективе, почти опирался на то коромысло.

И главным был дворик.

Они спустились вниз. В каменной стене, отделявшей двор от дворика, скучный, пустынный двор от таинственной лужайки, оказалась брешь. Не хватало нескольких камней, как хлебов, вынутых из печи. В эту амбразуру они увидели все. Солнце жгло Кавалерову макушку. Они увидели упражнения в прыжках. Между двух столбиков была протянута веревка. Юноша, взлетев, пронес свое тело над веревкой боком, почти скользя, вытянувшись параллельно препятствию, – точно он не перепрыгивал, а перекатывался через препятствие, как через вал. И, перекатываясь, он подкинул ноги и задвигал ими подобно пловцу, отталкивающему воду. В следующую долю секунды мелькнуло его опрокинутое искаженное лицо, летящее вниз, и тут же Кавалеров увидел его стоящим на земле, причем, столкнувшись с землей, он издал звук, похожий на «афф», – не то усеченный выдох, не то удар пятки по траве.

Иван ущипнул Кавалерова за локоть.

– Вот она... смотрите... (Шепотом.)

Все закричали и захлопали. Прыгун, почти голый, отходил в сторону, слегка припадая на одну ногу, должно быть из спортсменского кокетства.

Это был Володя Макаров.

Кавалеров был растерян. Его охватило чувство стыда и страха. Целую сверкающую машинку зубов обнаруживал Володя, улыбаясь.

Наверху, на галерее, снова стучали в дверь. Кавалеров обернулся. Очень глупо было попасться здесь, у стены, на подглядывании. По галерее идет кто-то. Окошки расчлняют идущего. Части тела движутся самостоятельно. Происходит оптический обман. Голова опережает туловище. Кавалеров узнает голову. По галерее проплывает Андрей Бабичев.

– Андрей Петрович! – кричит на лужайке Валя. – Андрей Петрович! Сюда! Сюда!

Страшный гость исчез. Он покидает галерею, ищет пути на лужайку. Разные преграды скрывают его от глаз Кавалерова. Надо бежать.

– Сюда! Сюда! – звенит Валин голос.

Кавалеров видит: Валя стоит на лужайке, широко и твердо расставив ноги. На ней черные, высоко подобранные трусы, ноги ее сильно заголены, все строение ног на виду. Она в белых спортивных туфлях, надетых на босу ногу; и то, что туфли на плоской подошве, делает ее стойку еще тверже и плотней, – не женской, а мужской или детской. Ноги у нее испачканы, загорелы, блестящи. Это ноги девочки, на которые так часто влияют воздух, солнце, падения на кочки, на траву, удары, что они грубеют, покрываются восковыми шрамами от преждевременно сорванных корок на ссадинах, и колени их делаются шершавыми, как апельсины. Возраст и подсознательная уверенность в физическом своем богатстве дают обладательнице право так беззаботно содержать свои ноги, не жалеть их и не холить. Но выше, под черными трусами, чистота и нежность тела показывает, как прелестна будет обладательница, созревая и превращаясь в женщину, когда сама она обратит на себя внимание и захочет себя украшать, – когда заживут ссадины, отпадут все корки, загар сровняется и превратится в цвет.

Он отряхнулся и побежал вдоль глухой стены в обратную сторону от амбразуры, пачкая плечо о камень.

– Куда вы! – звал его Иван. – Куда вы удираете, подождите!

«Он громко кричит! Они услышат! – ужасался Кавалеров. – Они меня увидят!»

Действительно, за стеной стало резко тихо. Там прислушивались. Иван догнал Кавалерова.

– Слушайте, милый мой... Видали? Это мой брат! Видали? Володя, Валя... Все! Весь лагерь... Подождите, я сейчас влезу на стену и обругаю их... Вы испачкались, Кавалеров, как мельник!

Кавалеров тихо сказал:

– Я отлично знаю вашего брата. Это он выгнал меня. Он – то важное лицо, о котором я говорил вам... Наша судьба схожа. Вы сказали, что я должен убить вашего брата... Что же мне делать?..

На каменной стене сидела Валя.

– Папа! – вскрикнула она, ахнув.

Иван обхватил ее ноги, свисающие со стены.

– Валя, выколи мне глаза. Я хочу быть слепым, – говорил он, задыхаясь, – я ничего не хочу видеть: ни лужаек, ни ветвей, ни цветов, ни рыцарей, ни трусов, – мне надо ослепнуть, Валя. Я ошибся, Валя... Я думал, что все чувства погибли – любовь, и преданность, и нежность... Но все осталось, Валя... Только не для нас, а нам осталась только зависть и зависть... Выколи мне глаза, Валя, я хочу ослепнуть...

Он скользнул по потным ногам девушки руками, лицом, грудью и тяжело шлепнулся к подножию стены.

– Выпьем, Кавалеров, – сказал Иван. – Будем пить, Кавалеров, за молодость, которая прошла, за заговор чувств, который провалился, за машину, которой нет и не будет...

– Сукин вы сын, Иван Петрович! (Кавалеров схватил Ивана за ворот.) Не прошла молодость! Нет! Слышите ли вы? Неправда! Я докажу вам... Завтра же – слышите ли? – завтра на футболе я убью вашего брата...

VIII

Николай Кавалеров занимал место на трибунах. На высоте, направо от него, в деревянной ложе, среди полотнищ, громадного шрифта афиш, лесенок и скрещенных досок сидела Валя. Молодежь наполняла ложу.

Дул ветер, день был очень яркий, сквозной, просвистанный ветром со всех сторон. Огромное поле зеленело прибитой травой, блестящей, как лак.

Кавалеров, не спуская глаз, смотрел на ложу, напрягал зрение и, уставая, работал воображением, стараясь получить то, чего не мог издали увидеть или услышать. Не только он – многие из сидевших близко к ложе, несмотря на то что были возбуждены предвкушением исключительного зрелища, обращали внимание на очаровательную девушку в розовом платье, почти девочку, небрежную по-детски к своим позам и движениям и вместе с тем имевшую такой вид, что каждому хотелось быть ею замеченным, точно была она знаменитость или дочь знаменитого человека.

Двадцать тысяч зрителей переполнили стадион. Предстоял небывалый праздник – долгожданный матч между московской и германской командами.

На трибунах люди спорили, кричали, скандалили из-за пустяков. Огромное количество народа распирало стадион. Где-то с утиным криком сломались перила. Кавалеров, запутавшийся в чужих коленях в поисках своего места, видел, как на дорожке, у подножия трибун, лежал, тяжело дыша и разбросав руки, почтенный старичок в кремовом жилете. Мимо него перли, мало о нем думая. Тревога усиливалась ветром. На вышках, как молнии, били флаги.

Все существо Кавалерова стремилось к ложе. Валя помещалась над ним, наискосок, метрах в двадцати. Зрение издевалось над ним. Казалось ему: они встречаются глазами. Тогда он приподнимался. Казалось ему: медальон вспыхивает на ней. Ветер делал с ней что хотел. То и дело она хваталась за шляпу. Это был капор из красной блестящей соломы. Ветер сдувал рукав ее до самого плеча, открывая руку, стройную, как флейта. Афишка улетела от нее и упала в гущу, помахав крыльями.

Еще за месяц до матча предполагали, что с германской командой приедет знаменитый Гецкэ, играющий центрального форварда, то есть главного игрока из пяти нападающих. Действительно, Гецкэ приехал. Лишь только германская команда вышла под звуки марша на поле, и еще игроки не успели распределиться по полю, как публика (как и всегда это бывает) узнала знаменитость, хотя знаменитость шла в толпе остальных гостей.

– Гецкэ! Гецкэ! – закричали зрители, испытывая особенную приятность от вида знаменитого игрока и оттого, что они хлопали ему.

Гецкэ, оказавшийся небольшим черномазым и сутулым человеком, шагнул немного в сторону, остановился, поднял руки над головой и потряс соединенными ладонями. Невиданный иностранный способ приветствия еще более воодушевил зрителей.

Группа немцев – одиннадцать человек – сияла на зелени, в чистоте воздуха, яркой маслянистой окраской одежды. На них были оранжевые, почти золотые фуфайки с зелено-лиловыми нашивками на правой стороне груди и черные трусы. Трусы бубнили по ветру.

Володя Макаров, поживаясь от свежести только что надетой футбольной рубашки, высматривал из помещения футболистов в окно. Немцы достигли середины поля.

– Пошли, что ли? – спросил он. – Пошли?

– Пошли! – скомандовал капитан команды. Выбежала советская команда в красных рубашках и белых трусах. Зрители валились на перила, лупили ногами в доски.

Рев заглушил музыку.

Немцам выпало играть первую половину игры по ветру.

Наши не только играли и старались делать все, что полагается делать, чтобы играть как можно лучше, но также не переставали наблюдать за игрой немцев как зрители и оценивать ее как профессионалы. Игра продолжается девяносто минут, с коротким перерывом на сорок пятой минуте. После перерыва команды меняются половинами поля. Так что при ветреной погоде выгоднее со свежими силами играть против ветра.

Так как немцы играли по ветру, а ветер был очень сильный, то всю игру сдуло к нашим воротам. Мяч почти не выходил из советской половины поля. Наши беки давали сильные «свечки», то есть высокие параболические удары, но мяч, скользя по стене ветра, завертывался, блестя желтизной, и шастал обратно. Немцы яростно атаковали. Знаменитый Гецкэ оказался и вправду грозным игроком. Все внимание сосредоточилось на нем.

Когда мяч попадал к нему, Валя, сидевшая на высоте, взвизгивала, как будто сейчас же, немедленно, должна была увидеть что-то ужасное и преступное. Гецкэ прорывался к воротам, оставляя позади себя наших беков, присевших от его быстроты и натиска на корточки, и ударял в ворота. Тогда Валя, качнувшись к соседу, обеими руками обхватывала руку соседа, прижималась щекой к ней и, думая только об одном, чтобы спрятать лицо и не видеть ужасного, продолжала смотреть скошенными глазами на страшные движения черного от беганья по жару Гецкэ.

Но Володя Макаров, вратарь советской команды, ловил мяч Гецкэ, еще не окончив движения, сделанного для удара, изящно переменял это движение на другое, нужное для того, чтобы повернуться и бежать, поворачивался и бежал, нагнув спину, плотно обтянутую пропотевшей до черноты фуфайкой. Тотчас же Валя принимала естественную позу и начинала смеяться: во-первых, от удовольствия, что нашим не вбивали мяча, и во-вторых – оттого, что вспоминала о том, как давеча визжала и хваталась за руку соседа.

– Макаров! Макаров! Браво Макаров! – кричала она со всеми.

Мяч каждую минуту летел в ворота. Он ударялся об их штанги, они стонали, с них сыпалась известь... Володя схватывал мяч в таком полете, когда это казалось математически невозможным. Вся публика, вся живая покатость трибун становилась как будто отвеснее, – каждый зритель приподнимался, выталкиваемый страшным, нетерпеливым желанием увидеть наконец самое интересное – вбитие гола. Судья вбрасывал на ходу свисток в губы, готовый засвистеть вбитие... Володя не схватывал мяч – он срывал его с линии полета и, как нарушивший физику, подвергался ошеломительному действию возмущенных сил. Он взлетал вместе с мячом, завертевшись, точь-в-точь навинчиваясь на него: он обхватывал мяч всем телом – коленями, животом и подбородком, набрасывая свой вес на скорость мяча, как набрасывают тряпки, чтобы потушить вспышку. Перехваченная скорость мяча выбрасывала Володю на два метра вбок, он падал в виде цветной бумажной бомбы. Неприятельские форварды бежали на него, но в конце концов мяч оказывался высоко над боем.

Володя оставался в воротах. Он не мог стоять. Он ходил по линии ворот от одного столба к другому, подавляя запал энергии, вызванной борьбой с мячом. Все гудело в нем. Он поводил руками, отряхивался, подкидывал носком кочки земли. Нарядный перед началом игры, теперь он состоял из тряпок, черного тела и кожи огромных беспальных перчаток. Передышки продолжались недолго. Снова нападение немцев катилось к московским воротам. Володя страстно желал победы своим и волновался за каждого своего игрока. Он думал, что только он знает, как надо играть против Гецкэ, какие у него слабые стороны, как защищаться от его атаки. Его интересовало также, какое мнение сложилось у знаменитого немца о советской игре. Когда он сам рукоплескал и кричал «ура» каждому из своих беков, ему тогда же хотелось крикнуть Гецкэ:

«Вот как мы играем! Хорошо ли мы играем, по-вашему?»

Как футболист Володя представлял собой полную противоположность Гецкэ. Володе был важен общий ход

игры, общая победа, исход, – Гецкэ стремился лишь к тому, чтобы показать свое искусство. Он был старый, опытный игрок, не собиравшийся поддерживать честь команды; он дорожил только собственным успехом; он не состоял постоянным членом какой-нибудь спортивной организации, потому что скомпрометировал себя переходами из клуба в клуб за деньги. Ему запретили участвовать в матчах на розыгрыш первенства. Его приглашали только на товарищескую игру, на показательные матчи и на поездки в другие страны. Искусство соединилось в нем с везением. Его участие делало команду опасной. Он презирал игроков – и тех, с которыми играл, и противников. Он знал, что забьет любой команде мячи. Остальное ему было не важно. Он был халтурщик.

Уже в середине игры зрителям стало ясно, что советская команда не уступает немцам. Они не вели правильной атаки – Гецкэ мешал этому. Он портил, разрушал их комбинации. Он играл только для себя, на свой риск, без помощи и не помогая. Получив мяч, он стягивал все движение игры к себе, сжимал его в клубок, распускал и скашивал, переводил из одного края в другой – по собственным, неясным для партнеров планам, надеясь только на себя, на свой бег и умение обводить противника.

Отсюда зрители заключили, что вторая половина игры, когда Гецкэ выдохнется и когда наши получат поветренную сторону, окончится разгромом немцев. Лишь бы сейчас наши продержались, не пропустив в свои ворота ни одного мяча.

Но и на этот раз виртуоз Гецкэ добился своего. За десять минут до перерыва он вырвался к правому краю, пронес мяч туловищем, потом резко остановился, осекши погоню, которая, не ожидая остановки, выбежала вперед и вправо, повернул с мячом к центру и по чистому пространству, обведя только одного советского бека, погнал мяч прямо на ворота, часто взглядывая то под ноги, то на ворота, как бы соразмеряя и высчитывая скорость направления и срок удара.

Сплошное «о-о-о» воем катилось с трибун.

Володя, раскорячась и расставив руки так, как если бы держал он невидимую бочку, приготовился хватать мяч. Гецкэ, не ударяя, подбежал к воротам. Володя упал ему под ноги. Мяч забился между ними двумя, как в бочке; потом свистки и топот зрителей покрыли финал сцены. От удара кого-то из двух мяч легко и неверно взлетел над головой Гецкэ, и тот вбил его в сетку толчком головы, похожим на поклон.

Таким образом, советская команда получила гол.

Стадион грохотал. Бинокли повернулись в сторону советских ворот. Гецкэ, глядя на свои мелькающие башмаки, кокетливо бежал к центру.

Товарищи поднимали Володю.

IX

Валя повернулась вместе с остальными. Кавалеров увидел ее лицо, обращенное к нему. Он не сомневался, что она видит его. Он засуетился, странное предположение разозлило его. Ему показалось, что окружающие посмеиваются, – заметили его беспокойство.

Он оглянулся на сидящих рядом. И было очень неожиданным то, что в одном углу с ним, в близком соседстве, сидел Андрей Бабичев. Вновь Кавалерова возмутили две белые руки, регулирующие шарнир бинокля, крупное туловище в сером пиджаке, подстриженные усы...

Черным снарядом повис над Кавалеровым бинокль. Ремни бинокля поводьями свисали от щек Бабичева.

Уже снова наступали немцы.

Вдруг мяч, выброшенный чьим-то мощным и нерассчитанным ударом, взлетел высоко и вбок за поле, из игры, в сторону Кавалерова, просвистел над пригнувшимися головами нижних рядов, остановился на мгновение и, завертевшись всеми своими пластинками, рухнул на доски, к ногам Кавалерова. Игра остановилась. Игроки застыли, застигнутые неожиданностью. Картина поля, зеленая и пестрая, все время двигавшаяся, теперь разом окаменела. Так разом останавливается фильм в момент разрыва пленки, когда в зал уже дают свет, а механик еще не успел выключить света, и публика видит странно побелевший кадр и контуры героя, абсолютно неподвижного в той позе, которая говорит о самом быстром движении. Злоба Кавалерова усилилась. Все смеялись вокруг. Попадания мяча в ряды всегда вызывают смех: зрители в ту минуту как бы сознают истинную шуточность того, что люди полтора часа бегают за мячом, заставляя их – зрителей, посторонних людей – с такой серьезностью и страстностью воспринимать их совершенно несерьезное времяпрепровождение.

Все тысячи в эту минуту, насколько могли, одарили Кавалерова непрошеным вниманием, и внимание это было смешливым.

Возможно, что и Валя хохотала над ним, человеком, попавшим под мяч! Возможно, что она веселится вдвойне, потешаясь над врагом в смешном положении. Он ухмыльнулся, стороня ногу от мяча, который, потеряв опору, с кошачьей привязанностью вновь ткнулся в его каблук.

– Ну! – невольно и удивленно крикнул Бабичев.

Кавалеров был пассивен. Две белые большие ладони протянулись за мячом. Кто-то поднял мяч и передал Бабичеву. Он встал во весь рост и, выпятив живот, закинул руки с мячом за голову, размахиваясь, чтобы подальше бросить. Он не мог быть серьезным в таком деле и, понимая, что нужно быть серьезным, преувеличил наружное выражение серьезности, насупившись и надув свежие, красные губы.

Бабичев, сильно качнувшись вперед, швырнул мяч, магически расковав поле.

«Он не узнает меня», – копил злобу Кавалеров.

Первая половина игры кончилась со счетом «один на ноль» в пользу германской команды... Игроки, с темными потеками на лицах, облипшие зелеными нитками травы, шли к проходу, сильно и широко, как в воде, двигая голыми коленями. Немцы, не по-русски красные, с румянцем, начинающимся от висков, пестро перетасовались с москвичами. Игроки шли, видя всех сразу, всю толпу под дощатыми стенами прохода, и никого не видя в отдельности. Они мазали по толпе улыбками и неживыми, слишком прозрачными на потемневших лицах, глазами. Те, кому только что представлялись они маленькими, бегающими и падающими разноцветными фигурками, теперь встретились с ними вплотную. Еще не остывший

шум игры двигался вместе с ними. Гецкэ, похожий на цыгана, шел, посасывая только что полученную ранку выше локтя.

Зевакам новостью были подробности роста или сложения того или иного игрока, жестокость ссадин, тяжелое дыхание, полное смятение одежды. Издали все производило более легкое, праздничное впечатление.

Кавалеров выдавился между чужих боков под какую-то перекладину и облегченно ступил на траву. Здесь, в тени, он бежал с другими по дорожке, огибая с задней стороны круг трибун. Буфет, расставленный на лужайке под деревьями, заполнился вмиг. Помятый старичок в кремовом жилете, все еще недовольно и опасливо поглядывая на публику, ел мороженое. К помещению футболистов лепилась толпа.

– Ура! Макаров! Ура! – неслись оттуда восторженные крики. Болельщики взбирались на заборы, отбиваясь от колючей проволоки, как от пчел, – и выше: на деревья, в темную зелень, раскачиваясь от ветра и ловкости, как лесные человечки.

Косо над толпой взлетело блестящее, плещущее голизной тело. Качали Володю Макарова.

Кавалерову не хватало духу проникнуть за триумфальное кольцо. Он заглядывал в щели, топчась за толпой.

Володя стоял уже на земле. Чулок на одной ноге его спустился, обернувшись зеленым бубликом вокруг грушевидной, легко-волосатой икры. Истерзанная рубашка еле держалась на туловище его. Он целомудренно скрестил на груди руки.

И вот стоит Валя. И Андрей Бабичев с нею.

Всем троим рукоплещут зеваки.

Бабичев любовно смотрит на Володю.

Вмешался ветер. Повалился полосатый колышек, вся листва качнулась вправо. Кольцо зевак распалось, вся картина расстроилась, люди спасались от пыли. Больше всех досталось Вале. Розовое платье, легкое, как шелуха, взлетело над ногами, показав Кавалерову свою прозрачность. Ветер придул платье к лицу ее, и контур лица увидел Кавалеров в сиянии и просвечивании ткани, развернувшейся веером. Сквозь пыль увидел Кавалеров это и то, как, ловя свое платье, она закружилась, запуталась, едва не падая вбок. Она старалась прихлопнуть подол на коленях, прижать, но не справилась, и тогда, для прекращения неприличия, прибегла к полумерам: руками обхватила слишком открывшиеся ноги, пряча колени, складываясь в три погибели, как купальщица, застигнутая врасплох.

Где-то засвистел судья. Покатился марш. Так прервалось веселое замешательство. Начинали вторую половину игры. Володя умчался.

– Немцам два гола минимум! – провизжал мальчишка, несясь мимо Кавалерова.

Валя продолжала бороться с ветром. В погоне за подолом десять раз она переменяла позицию и под конец очутилась вблизи Кавалерова, на расстоянии шепота.

Она стояла, широко расставив ноги. Шляпу, сброшенную ветром и пойманную на лету, она держала в руке. Еще не оправившись от прыжка, она смотрела на Кавалерова, не видя его, наклонив немного набок голову с короткими, резко и косо у щек подрезанными каштановыми волосами.

Солнечный свет скользнул по плечу ее, она качнулась, и ключицы вспыхнули, как кинжалы. Десятую долю минуты длилось разглядывание, и сразу же Кавалеров понял, холодея, какая неизлечимая тоска останется в нем навсегда оттого, что он увидел ее, существо другого мира, чуждое и необыкновенное, и ощутил, как безысходно мило выглядит она, как подавляюще недоступна ее чистота, – и потому, что она девочка, и потому, что она любит Володю, – и как неразрешима ее соблазнительность.

Бабичев ждал ее, протянув руку.

– Валя, – сказал Кавалеров. – Я ждал вас всю жизнь. Пожалейте меня...

Но она не слышала. Она бежала, подкошенная ветром.

Х

Ночью Кавалеров вернулся домой пьяный.

Он прошел по коридору к раковине – напиться. Он раскрутил кран до отказа, весь замочился. Кран оставил, струя трубила. Войдя в Анечкину комнату, он остановился. Свет не был потушен. Обложенная желтой ватой света, вдова сидела на громадной своей кровати, свесив голые ноги за борт. Она была готова ко сну.

Кавалеров шагнул. Она молчала, как зачарованная. Кавалерову показалось, что она улыбается, манит.

Он пошел на нее.

Она не сопротивлялась и даже открыла объятия.

– Ах ты поползенок, – шептала она, – ишь ты, поползенок.

Позже он просыпался. Терзала его жажда, пьяная, остервенелая мечта о воде. Он просыпался – тишина была. За секунду до пробуждения вспоминал он о том, как била струя в раковину, – пронзительное воспоминание подкидывало его, – но воды не было. Он снова валился. Пока спал он, вдова хозяйничала: она закрыла кран, раздела спящего и починила его подтяжки. Наступило утро. Сперва ничего Кавалеров не понял. Как пьяница-нищий в комедии, подобранный богачом и принесенный во дворец, он лежал, очумелый, среди незнакомой роскоши. Он увидел небывалое свое отражение в зеркале – подошвами вперед. Он великолепно лежал, загнув руку за голову. Солнце освещало его сбоку. Точно в куполе храма парил он в широких дымящихся полосах света. А над ним свисали виноградные гроздья, плясали купидоны, из рогов изобилия выкатывались яблоки, – и он почти слышал исходящее от всего этого торжественное органное гудение. Он лежал на Анечкиной кровати.

– Ты мне напоминаешь его, – жарко прошептала Анечка, склонившись над ним.

Над кроватью висел застекленный портрет. Висел мужчина, чей-то молодой дедушка, торжественно одетый, – в одном из последних сюртуков эпохи. Чувствовалось: у него крепкий, многоствольный затылок. Лет пятидесяти семи мужчина.

Кавалеров вспомнил: отец передевает рубашку...

– Ты мне очень напомнил мужа, – повторяет Анечка, обнимая Кавалерова. И голова Кавалерова уходит в подмышку ее, как в палатку. Шатры подмышек раскрыла вдова. Восторг и стыд бушевали в ней.

– Он тоже взял меня... так... хитростью... тихо, молчал-молчал, ничего не говорил... и потом! Ах ты поползенок мой...

Кавалеров ударил ее.

Она опешила. Кавалеров вскочил с кровати, взрывая пласты постели; простыни потянулись за ним. Она бросилась к дверям, руки ее вопили о помощи, она бежала, преследуемая скарбом, как помпеянка. Рухнула корзина, накренился стул.

Он несколько раз ударил ее по спине, в поясницу, опоясанную жиром, как шиной.

Стул стоял на одной ноге.

– Он тоже меня бил, – сказала она, улыбаясь сквозь слезы.

Кавалеров вернулся на кровать. Он повалился, чувствуя, что заболевает. Он лежал в забытии весь день. Вечером вдова легла рядом. Она храпела. Кавалерову представилась гортань ее в виде арки, ведущей в мрак. Он прятался за сводами арки. Все дрожало, сотрясало, тряслась почва. Кавалеров скользил и падал под напором воздуха, летящего из бездны. Спящая ныла. Разом переставала она ныть, умолкала, громко чавкнув. Вся архитектура гортани перекашивалась. Храп ее становился пороховым, сельтерским.

Кавалеров метался и плакал. Она вставала и прикладывала ко лбу его мокрое полотенце. Он тянулся к влаге, весь приподымаясь, искал полотенце руками, комкал его, подкладывая под щеку, и целовал, шепча:

– Они украли ее. Как трудно мне жить на свете... Как трудно...

А вдова, не успев лечь, засыпала тотчас, приткнувшись к зеркальной арке. Сон обмазывал ее сладостью. Она спала с открытым ртом, булькая, как спят старушки.

Жили клопы, шуршали, как будто порол кто-то обои. Проявлялись неведомые дню клопьиные тайники. Росло, разбухало дерево кровати.

Зарозовел подоконник.

Вокруг кровати клубился сумрак. Ночные тайны спускались из углов по стенам, обтекали спящих и уползали под кровать. Кавалеров вдруг сел, широко раскрыв глаза. Над кроватью стоял Иван.

XI

И немедленно Кавалеров стал собираться.

Анечка спала в сидячем положении под аркой, оцепив руками живот. Он осторожно, дабы не потревожить ее, совлек одеяло и, надев его, как плащ, предстал перед Иваном.

– Ну и отлично, – сказал тот. – Вы сверкаете, как ящерица. В таком виде вы и покажетесь народу. Идемте, идемте! Надо торопиться.

– Я очень болен, – вздохнул Кавалеров; он кротко улыбался, как бы извиняясь за то, что нет у него охоты отыскивать брюки, пиджак и башмаки. – Ничего, что я босой?

Иван уже был в коридоре. Кавалеров поспешил за ним.

«Я долго и беспричинно страдал, – подумал Кавалеров. – Сегодня наступил день искупления».

Поток людей захватил их. За ближайшим углом открылась сияющая дорога.

– Вот он! – сказал Иван, сжимая руку Кавалерова. – Вот «Четвертак»!

Кавалеров увидел: сады, шаровидные куполы листвы, арка из легкого прозрачного камня, галереи, полет мяча над зеленью...

– Сюда! – скомандовал Иван.

Они побежали по стене, увитой плющом, затем пришлось прыгать. Голубое одеяло облегчило Кавалерову прыжок, он поплыл по воздуху над толпой и опустился к подножию широчайшей каменной лестницы. Тотчас же, испугавшись, он стал уползать под одеялом своим, как насекомое, сложившее крылья. Его не заметили. Он присел за цоколем.

На вершине лестницы, окруженный многими людьми, стоял Андрей Бабичев. Он стоял, обняв за плечо и привлекая к себе Володю.

– Сейчас ее принесут, – говорил Андрей, улыбаясь друзьям.

И тут Кавалеров увидел следующее: по асфальтовой дороге, ведущей к ступеням лестницы, шел оркестр, и над оркестром парила Валя. Звучание инструментов держало ее в воздухе. Ее нес звук. Она то поднималась, то опускалась над трубами, в зависимости от высоты и силы звука. Ленты ее взлетали выше головы, вздувалось платье, волосы стояли кверху.

Последний пассаж выбросил ее на вершину лестницы, и она упала на руки Володи. Все расступились. В кругу остались они двое.

Дальнейшего Кавалеров не увидел. Внезапный ужас охватил его. Странная темь вдруг выдвинулась перед ним. Он, леденея, медленно оборотился. На траве, позади него, сидела Офелия.

– А-а-а! – страшно закричал он. Он ринулся бежать. Офелия, звякнув, схватила его за одеяло. Оно соскользнуло. В постыдном виде, спотыкаясь, падая, ударяясь челюстью о камень, он взбирался по лестнице. Те смотрели сверху. Нагнувшись, стояла прелестная Валя.

– Офелия, назад! – раздался голос Ивана. – Она не слушает меня... Офелия, стой!

– Держите ее!

– Она убьет его!

– О!

– Смотрите! Смотрите! Смотрите!

Кавалеров с середины лестницы оглянулся. Иван делал попытки вскарабкаться на стену. Плющ обрывался. Толпа отхлынула. Иван повис на стене на широко раскинутых руках. Страшная железная вещь медленно двигалась по траве по направлению к нему. Из того, что можно было назвать головой вещи, тихонько выдвигалась сверкающая игла. Иван выл. Руки не выдержали. Он сорвался, котелок его покотился среди одуванчиков. Он сидел, прижавшись спиной к стене, руками закрыв лицо. Машина двигалась, срывая на ходу одуванчики.

Кавалеров поднялся и полным отчаяния голосом закричал:

– Спасите его! Неужели вы допустите, чтоб машина убила человека?!

Ответа не последовало.

– Мое место с ним! – сказал Кавалеров. – Учитель! Я умру с вами!

Но было уже поздно. Заячий вопль Ивана заставил его свалиться. Падая, увидел он Ивана, приколотого к стене иглой.

Иван тихо наклонился, поворачиваясь вокруг страшной оси.

Кавалеров закутал голову руками, чтобы ничего больше не видеть и не слышать. Но все же слышал он позванивание. Машина поднималась по лестнице.

– Я не хочу! – закричал он что было мочи. – Она убьет меня! Простите! Простите! Пощадите меня! Это не я опозорил машину! Я не виноват! Валя! Валя! Спаси меня!

XII

Кавалеров болел трое суток. Выздоровев, он бежал.

Он слез, глядя в одну точку, в угол, под кровать. Он одевался как автомат и вдруг ощутил новую кожаную петлю на подтяжках. Вдова удалила английскую булавку. Откуда взяла она петлю? Отпоролась от старых подтяжек мужа? Кавалеров полностью понял мерзость своего положения. Он убежал без пиджака в коридор. По дороге отцепил и бросил красные подтяжки.

На пороге площадки он задержался. Голосов со двора не было слышно. Тогда шагнул он на площадку, и все мысли смешались. Возникли сладчайшие ощущения – томление, радость. Прелестно было утро. Был легкий ветерок (точно листали книгу), голубело небо. Над загаженным местом стоял Кавалеров. Кошка, испуганная его порывом, бросилась из сорного ящика; какая-то дрянь посыпалась за ней. Что могло быть поэтического в этом обложенном многими проклятиями закутке? А он стоял, забрав голову и вытянув руки.

В ту секунду он почувствовал, что вот наступил срок, что вот проведена грань между двумя существованиями – срок катастрофы! Порвать, порвать со всем, что было... сейчас, немедленно, в два сердечных толчка, не больше, – нужно переступить грань, и жизнь, отвратительная, безобразная, не его – чужая, насильственная жизнь – останется позади...

Он стоял, широко раскрыв глаза, и все поле зрения от бега и волнения и оттого, что был он еще слаб, пульсировало перед ним и розовело.

Он понял степень своего падения. Оно должно было произойти. Слишком легкой, самонадеянной жизнью жил он, слишком высокого был он о себе мнения, – он, ленивый, нечистый и похотливый...

Понял Кавалеров все, летя над закутком.

Он вернулся, подобрал подтяжки, оделся. Звякнула ложка – вдова потянулась за ним, – но, не оглянувшись, он покинул дом. Снова он ночевал на бульваре. И снова он вернулся. Но он решил твердо!

«Я поставлю вдову на место. Я не позволю ей даже заикнуться о том, что было. Мало ли что случается по пьяному делу. А жить на улице я не могу».

Вдова жгла над плитой лучину. Она посмотрела на него из-за виска и самодовольно улыбнулась. Он вошел в комнату. На угол шкафа надет был котелок Ивана.

Иван сидел на кровати, похожий на брата своего, только поменьше. Одеяло окружало его, как облако. На столе стояла винная бутылка. Иван хлебал из стакана красное вино. Он недавно, видимо, проснулся; лицо его еще не выровнялось после сна, и еще сонно почесывался он где-то под одеялом.

– Что это значит? – задал Кавалеров классический вопрос. Иван ясно улыбнулся.

– Это значит, мой друг, что нужно нам выпить. Анечка, стакан!

Анечка вошла. Полезла в шкаф.

– Ты не ревнуй, Коля, – сказала она, обняв Кавалерова. – Он очень одинокий, такой же, как ты. Я вас обоих жалею.

– Что это значит? – тихо спросил Кавалеров.

– Ну, чего заладили? – рассердился Иван. – Ничего не значит.

Он слез с кровати, придерживая исподнее, и налил Кавалеру вина.

– Выпьем, Кавалеров... Мы много говорили о чувствах... И главное, мой друг, мы забыли... О равнодушии... Не правда ли? В самом деле... Я думаю, что равнодушие есть лучшее из состояний человеческого ума. Будем равнодушны, Кавалеров! Взгляните! Мы обрели покой, мой милый. Пейте. За равнодушие. Ура! За Анечку! И сегодня, кстати... слушайте: я... сообщу вам приятное... сегодня, Кавалеров, ваша очередь спать с Анечкой. Ура!

РАССКАЗЫ

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

Я – маленький гимназист.

Когда я вырасту, я буду таким, как господин Ковалевский.

Этого требует от меня вся семья.

Я буду инженером и домовладельцем.

Распахнута балконная дверь. Слышен шум порта. На балконе растет олеандр из зеленой кадки. Господин Ковалевский приехал к нам обедать. Он стоит на фоне балконной двери, черный, как тень, на тонких расставленных ногах.

Мой папа – акцизный чиновник, обедневший дворянин, картежник. Мы бедны, но принадлежим к порядочному кругу. Мой папа остался барин, как и был; от него никто не отвернулся.

Я вхожу в гостиную, чтобы приветствовать господина Ковалевского. Я иду, маленький, согбенный, ушастый, – иду между собственных ушей. Сзади идет папа. Он меня демонстрирует. Я – вундеркинд. Гость протягивает мне руку, которая кажется мне пестрой, как курица.

Папа знает в точности, как должен жить я, чтобы быть счастливым: то есть быть богатым, независимым и занимать положение в обществе. Как господин Ковалевский. Свою жизнь папа считает несчастной. Как всякий промотавшийся барин, он считает себя униженным и оскорбленным. Все прошло, поздно жалеть, жизнь прожита. Но что ж, пусть, хорошо! Зато у него есть план местности, которая осталась позади. На плане обозначены пункты катастроф, пропасти и преграды. Кроме плана собственной жизни имеется также приблизительный план жизни господина Ковалевского. Их нетрудно сравнить – эти два плана. И вот произведено сравнение, сглаживание, выравнивание, накладывание одной части на другую, – отмечены совпадения и разрывы. В результате всего получился план той жизни – идеально удачной жизни, – которую мог бы прожить папа, если бы судьба положила ему быть счастливым. Но жизнь не повторяется дважды. Что делать с планом? Передать его сыну. Таким образом, для руководства предлагается мне план, который разработан отцом моим на основе зависти, раздражения, на основе учета свойственных только ему мечтаний и способностей. Этот план предлагается как лучший, и я не имею права обсуждать его.

Папа понимает разницу между собой и господином Ковалевским. Она огромна, и самому папе уже никогда не укоротить ее. Но вот вхожу я, и папа говорит:

– Дося – первый ученик.

Это значит: я одолел одну из тех преград, которые на плане папиной жизни обозначены знаком катастрофы.

Я – первый ученик. Я моложе своих сверстников и умнее их. Это очень важно. Господина Ковалевского это должно покоробить. Я – тихоня, и характер у меня замкнутый. Даже то, что я малокровный, поднимает папины шансы в соревновании с господином Ковалевским. Пусть он знает, что у меня есть все данные выбиться в люди. Замкнутый характер, прилежание, малокровие – многообещающие обстоятельства. Я, оказывается, вношу неожиданную и блестящую поправку в план идеально-удачной жизни: малокровие!

Мы стоим друг против друга: я – гимназист второго класса, и господин Ковалевский – инженер, домовладелец и председатель чего-то.

Я поднимаю глаза и вижу бороду.

Она русая, большая, вьющаяся кольцами. В тени ее, как дриада в лесу, ютится орден.

Ныне оглядываюсь я – и не вижу бород!

Бородатых нет!

Мы были маленькими гимназистами, у нас были отцы, дедушки, дяди, старшие братья. Это была галерея примеров. Нас вели по этому коридору, повертывая наши головы то в одну, то в другую сторону, и шепотом произносили имена дядь, двоюродных братьев, великих родственников и великих знакомых.

Над детством нашим стояли люди-образцы. Инженеры и директора банков, адвокаты и председатели правлений, домовладельцы и доктора.

Японская война, подвиг рядового Рябова, первый кинематограф, двухсотлетие Полтавской победы, еврейские погромы, генерал Каульбарс, убийство королевы Драги – вот знаки моего детства. И, кроме того, люди-образцы, люди-примеры, бородатые женихи моей мечты, бороды, бороды, бороды...

Одни были расчесаны надвое. У этих, у обладателей расчесанных надвое бород, губы были румяны, улыбающиеся – цвета семги – губы жуиров и развратителей гимназисток.

Были бороды седые, длинные и суживающиеся книзу, как меч. У таких бородачей брови были сдвинуты и насуплены, – и эти люди были совестью поколения.

Были бороды короткие и широкие. Их держали в кулаках – могучие бороды путейцев и генералов!

Я буду таким, как господин Ковалевский.

У меня вырастет борода.

Мы оба в форменной одежде: гимназист и чиновник. Он – в черном мундире, я – в серой куртке.

О, серая куртка гимназиста! Ты не облегла меня, ты стояла вокруг моего туловища и была выше его, и плечи твои ничего общего с моими плечами не имели! Ты окружала меня – твердая, широкая и неподвижная, как спинка стула!

Я – маленький гимназист в платье на вырост. Мы оба в форме – я и господин Ковалевский; мы – звенья одной большой цепи; на нас бляхи, петлицы, гербы; мы – люди регламентированные – гимназист и чиновник.

– Здравствуйте, господин Ковалевский, – говорю я.

– А! – восклицает господин Ковалевский. – Здравствуйте, молодой человек красивой наружности и ловкого телосложения.

А затем, после паузы, говорит папа. Он говорит:

– Дося будет инженером.

Тут я должен был бы возразить: будущие инженеры учатся в реальных училищах. Зачем же вы определили меня в гимназию?

Я должен быть инженером и должен, кроме того, знать латынь. Как же можно без латыни? Да, но инженеру не нужна латынь! Да, но ты – способный, ты должен все знать и все уметь, ловить всех зайцев, опережать сверстников, быть самым прилежным и тихим, потому что папа твой еще до твоего рождения проиграл состояние в карты и хочет теперь отыгратья.

В день моих именин мне подарили готовальню.

Пусть Дося чертит.

А я даже не знал, что есть такое слово – готовальня!

И я стал чертить, испытывая муки творчества, которые были бесполезны, унылы и никак не могли бы вознаградить успехом, потому что в той части мозга, где у будущего инженера сосредоточена склонность к черчению, у меня было слепое место. Я ощущал научную невозможность привести в движение то, что отсутствовало вовсе; сознание это превращалось в боль во лбу, в тяжесть, давившую на лобные кости.

В бархатном ложе лежит, плотно сжав ноги, холодный, сверкающий циркуль.

У него тяжелая голова. Я намереваюсь поднять его. Он неожиданно раскрывается и производит укол в руку. Я держу в кулаке одну его ногу. Подвижность его стремительней всех моих суждений, даже предупредительных рефлексов. Я подношу руку ко рту, чтобы слизать кровь, – и не успеваю подумать: «осторожно»... Циркуль уже повернулся в кулаке, и вот он уже смотрит страшным острием прямо мне в глаз. И я не понимаю, что происходит: что это? что это за блеск? что это за точка, которую я не могу постигнуть физически и которая грозит мне смертью?

Я разжимаю кулак. Циркуль стоит на столе, оглядывается, идет, останавливается и рушится на голову, раскрыв ноги. Я должен напороться на них обоими зрачками сразу.

Ныне оглядываюсь: все инженеры вокруг меня!

Ни одного домовладельца – все инженеры.

И я среди них – писатель.

И никто не требует, чтобы я был инженером.

Мне много говорили о справедливости. Мне говорили: нищета – добродетель, заплатанное платье прекрасно, нужно быть справедливым. Нужно быть добрым и не презирать бедных. Когда произошла революция, передо мной встала величайшая человеческая справедливость – торжество угнетенного класса. Тогда я узнал, что не всякое заплатанное платье прекрасно и не всякая нищета – добродетель. Тогда я узнал, что справедливо только то, что помогает раскрепощению угнетенного класса. Об этой справедливости ни слова не сказали мне те, кто учил меня, как жить. Я должен постичь ее сам – умом. А что вколотили в мой ум? Мечту о богатстве, о том, что нужно заставить общество склониться перед собой.

Я хватаю в себе самого себя, хватаю за горло того меня, которому вдруг хочется повернуться и вытянуть руки к прошлому.

Того меня, который думает, что расстояние между нами и Европой есть только географическое расстояние.

Того меня, который думает, что все, что происходит, есть только его жизнь, единственная и неповторимая, всеобъемлющая моя жизнь, своим концом прекращающая все существующее вне меня.

Я хочу задавить в себе второе «я», третье и все «я», которые выползают из прошлого.

Я хочу уничтожить в себе мелкие чувства.

Если я не могу быть инженером стихий, то я могу быть инженером человеческого материала.

Это звучит громко? Пусть. Громко я кричу: «Да здравствует реконструкция человеческого материала, всеобъемлющая инженерия нового мира!»

1928

ЦЕПЬ

Студент Орлов ухаживал за моей сестрой Верой.

Он приезжал на дачу на велосипеде. Велосипед стоял над цветником, прислоненный к борту веранды. Велосипед был рогат.

Студент снимал со щиколоток сверкающие зажимы, нечто вроде шпор без звона, и бросал их на деревянный стол. Затем студент снимал фуражку с небесным околышем и вытирал лоб платком. Лицо у него было коричневое, лоб белый, голова бритая, радужная, с шишкой. Студент не видел меня. Я видел все. Он не говорил со мной ни слова.

Деревянный стол был морщинист, на столе стоял горшок с цветами, студент дул в цветы, цветы отворачивались. Студент смотрел вдаль и видел синий околыш моря.

– Блерио перелетел через Ла-Манш, – сказал я. Я был еще в том возрасте, когда человек, прежде чем произнести фразу, проглатывает слюну.

– Перелетел, – сказал студент.

И снова молчание.

Я не имею права участвовать в жизни мира. Мне даже совестно выразаться так умно: Блерио... Ла-Манш...

Студент вынимает из горшка стебель, на котором две распустившиеся гвоздики и один бутон. Бутон он откусывает. Бутон туг, блестящ, цилиндричен, похож на пулю. Студент втягивает щеки и стреляет бутонем. Попадает в велосипед, в спицу. Колесо звучит, как арфа.

– У аэроплана колеса велосипедные? – спрашиваю я. Велосипедные – это я знаю отлично. Но мне кажется, что студент глуп. Я уверен, что я гораздо более, чем он, осведомлен по части авиации. Но мне неловко признать это, и я считаю необходимым дать студенту возможность оказаться более сведущим.

– Велосипедные, – говорит студент.

Тут треугольник: велосипед, студент, я.

Я краснею: мне хочется все время говорить о велосипеде; я чувствую, что это стыдно, краска заливает мне лицо. Он дубина, студент, – я это знаю. Я вижу его насквозь.

– Гусь твой Сева, – сказал папа Вере.

Действительно, Сева гусь. Но что делать? Он владеет велосипедом. И я кривляюсь, лицемерю. Меня лихорадит в его присутствии.

Я хочу сказать:

– Всеволод Васильевич, разрешите мне покататься. Недалеко, по дорожке. Потом я заверну к калитке. Там ровная поверхность. Я проеду осторожно. Или даже не надо к калитке. Довольно будет и по дорожке.

Так я хочу сказать. Даже брови поднимаются от стыда. Опершись локтями на стол, я опускаю брови при помощи пальцев.

Вчера мне разрешено было покататься. Нельзя же так часто. Попрошу завтра. Или даже послезавтра.

Я смотрю на велосипед. Каждую минуту студент может поймать мой взгляд. Тогда я чуть-чуть, незаметно, на одну линию подниму взгляд и буду смотреть на лозу. На ней повисла кошка. В полной тишине висит среди листьев белая маленькая кошка, сибирская, пушистая – о, почти пернатая! – представительница знатного рода, ставшая босячкой.

Студент увидел кошку.

– Ах ты дрянь! – сказал он. – Виноград ест.

Никогда не едят кошки винограда. И виноград этот дикий. Но студент встает, – и я не заступаюсь. Напротив, я прыгаю. Студент отдирает кошку от виноградной стены и швыряет за перила.

Студент спускается в сад. Сейчас вернется с купанья Вера. Вот она появляется за проволочной изгородью. Ускоряет шаг, увидев своего гуся; бежит. Вот они встретились, она складывает розовый зонт.

Студент сказал:

– Можно!

Из кожаной сумки, прикрепленной под седлом, я достал французский ключ. Я поворачивал винт и опускал седло. Как прохладны фибровые ручки руля! Я веду машину по ступенькам в сад. Она подпрыгивает, звенит. Она кивает фонарем. Я поворачиваю ее. Вспыхивает на переднем стволе рамы зеленая марка фирмы. Движение – и марка исчезает, как ящерица.

Я еду.

Так хрустит гравий; так бежит под взглядом сверху шина; так калитка норовит попасть под плечо, как костыль; так лежит на дороге какая-то гайка, пушистая от ржавчины, – так начинается путешествие!

Движение происходит как бы по биссектрисе между стремительно суживающимися сторонами угла.

В глаз попала мушка. О, почему это случилось? Так громадно пространство, по которому несусь я, так быстро мое движение – и надо ж... И надо ж двум совершенно несогласованным движениям – моему и насекомого – столкнуться в таком небольшом моем глазу!

Поле зрения становится горьким. Я зажмуриваю глаз так сильно, что бровь касается щеки; руль выпустить нельзя, – я стараюсь поднять веко, оно трепещет... Я торможу, схожу, машина лежит, педаль еще вертится; я раскрываю глаз пальцами, – яблоко повернуто книзу, и я вижу алое ложе века.

Почему насекомое, попав в глаз, немедленно гибнет? Неужели я выделяю ядовитые соки?

И вновь я качу.

Птица улетает из-под самого колеса – в последнюю долю секунды. Не боится. Это мелкая птица. А голубь не улетает даже. Голубь просто отходит в сторону, даже не оглядываясь на велосипедиста.

Бег велосипеда сопровождается звуком, похожим на жарение. Иногда как будто взрывается шутиха. Но это не важно. Это подробности, которых можно наворотить сколько угодно. Можно сказать о коровах, распертых изнутри костяком и напоминающих шатры. Или о коровах в белых замшевых масках. Важно то, что я потерял передаточную цепь. Без нее на велосипеде ездить нельзя. На полном ходу слетела передаточная цепь, и я это заметил слишком поздно.

Она лежит на дороге. Нужно вернуться и подобрать. Ничего тут страшного нет. Страшного тут нет ничего. Я иду и веду машину за фибровую ручку. Педаль толкает меня под колено. Три мальчика, три неизвестных мне мальчика бегут по краю оврага. Они убегают, позлащенные солнцем. Блаженная слабость возникает у меня в низу живота. Я понимаю: мальчики нашли цепь. Это неизвестные мальчишки, бродяги. Вот они уже бегут в глубине ландшафта.

Так произошло несчастье.

И мне представляется:

...Я возвращаюсь на дачу как ни в чем не бывало. Я привожу пришедший в негодность велосипед и прислоняю его к борту веранды. Пьют чай: папа, мама, Вера и студент Орлов. К чаю дан пирог со сливами. Это плоский сиреневый круг. Мы сидим напротив друг друга: я и студент Орлов. Ситуация такая: у студента был велосипед, и я этот велосипед испортил. Можно усилить: у студента была жена, и я выбил ей глаз. Наступает вечер. Так я представляю

себе: наступает вечер, приносят лампу, у мамы на груди, на стеклярусе, образуется лунная дорога. Студент встает, говорит:

– Я поехал.

Идет к велосипеду.

Потом гробовая тишина.

Нет, не тишина... В действительности Вера говорит что-то, мама тоже говорит, но уже в сознании моем существует тишина. Студент нагнулся над велосипедом, и я предчувствую, как сейчас повернется в мою сторону его голова, – и уже между мной и студентом протягивается тишина.

– Где передача? – спрашивает студент.

– Какая передача? – спрашиваю я.

– Как какая?

– Какая?

– Потерял?

– Никакой передачи не было, – говорю я. – Я ездил без передачи. Разве была передача?

– Он сошел с ума, – говорит папа. – Смотрите, он сидит с высунутым языком.

Тишина. Я сижу с высунутым языком.

Так мне представляется. Законным путем нельзя выпутаться из несчастья. Остается одно: нарушить закон.

Я решаю действовать как во сне. И приходит из глубины воспоминание о страшном, изредка повторяющемся сновидении: я убиваю маму. Я встаю. Вера закрывает лицо руками. Мама как бы оседает вся, делается толще, лишается шеи.

Так мне представляется.

Я не могу вернуться домой.

Сейчас меня хватятся.

Я отправляюсь на дачу к Гурфинкелям. Гриша Гурфинкель, который со мной в одном классе, должен мне помочь. Я буду плакать; знаменитый хирург, профессор Гурфинкель, пожалеет меня. Малокровный мальчик будет плакать и биться в присутствии великого доктора. Ну сколько может стоит передача? Они дадут мне... Мы купим передачу.

И я пошел. Чужая жена с выбитым глазом волочилась за мной. Мы оглядывались: не началась ли погоня?

Но Гурфинкелей нет, они уехали. Они уехали в Шабо, на виноград. Я ухожу. Возле лавки, где продаются прохладительные напитки, собралась толпа. И я слышу слово «Уточкин».

Стоит автомобиль. Страшный автомобиль. Я его уже видел однажды. Он пролетал по Ланжероновской улице, производя грохот, подобный пальбе, дымась... Он не катился, он как бы несся прыжками.

Это автомобиль, не имеющий на моторе покрышки, грязный, блестящий маслом, из него каплет, в нем шипит.

Уточкин пьет в лавке прохладительный напиток. Толпа говорит о великом гонщике. «Уточкин», – говорят. «Рыжий», – говорят и вспоминают, что он заика.

Толпа раздается. Выходит великий гонщик. Без шапки. И еще какие-то люди с ним. Тоже рыжие. Он идет впереди. На велодроме он победил Петерсона, Бадера.

(Он – считается – чужак. Отношение к нему – юмористическое. Неизвестно почему. Он одним из первых стал ездить на велосипеде, мотоцикле, автомобиле, одним из первых стал летать. Смеялись. Он упал в перелете Петербург – Москва, разбился. Смеялись. Он был чемпион, а в Одессе думали, что он городской сумасшедший.)

Я смотрю на Уточкина.

Он одет в нечто, напоминающее мешок, испачканное, блестящее, разрезанное наверху. Он доедает кремовое пирожное. Руки его в кожаных перчатках. Пирожное рассыпается по перчаткам, как сирень. Персидская сирень на губах у него, на щеке. Заводят мотор, который начинает стрелять, как пушка, местность трясется, поднимается вихрь. Я падаю вместе с велосипедом. Хватаюсь за спицы. Какую-то букву напоминает мне страшный автомобиль – не то Ф, не то Б, положенное на спину.

Уточкин поднимает меня.

В хаосе происходит тихая сентиментальная сцена: я хватаю руку в перчатке с распухшим пальцем, рассказываю обо всем, что случилось со мной, – о студенте, о велосипеде, о катастрофе...

Затем мой велосипед ставят поперек автомобиля. Страшная машина получает прозрачное украшение. Пять человек, в том числе и я, садятся на брюхо буквы Б. О, индустриальная сказка! Ничего не помню! Ничего не знаю! Помню только: рейс наш сопровождался тем, что вдоль дороги все собаки вставали на дыбы.

Я, конечно, не умру, я буду жить и потом – и после этого дня, завтра и долго-долго. Ничто не изменится, я буду по-прежнему мальчиком, будет студент Орлов, и драма с передачей не окончится легко и безболезненно... Но сейчас... Сейчас я нахален, высокомерен и жесток. Куда я мчусь? Я мчусь наказывать маму, папу, Веру, студента... Если бы они сейчас стали умирать на глазах у меня, я воскликнул бы со смехом: «Смотрите, Уточкин! Ха-ха-ха! Они умирают... мы на машине, черные... Кто там сказал: „любовь, послушание, жалость“? Не знаем, не знаем, у нас – цилиндры, бензин, протекторы... Мы мужчины. Вот он великий мужчина: Уточкин! Мужчина едет наказывать папу».

Мы останавливаемся у калитки. Идем. Впереди идет Уточкин. Мы с велосипедом бежим сзади. Мотор стреляет все время. На дальних дачах сбегаются к калиткам люди и слушают отдаленную канонаду.

Уточкин и студент встречаются лицом к лицу.

Окружающие ничего не понимают.

Я уехал ведь с нежным позваниванием. Какой я был кроткий, послушный! Я просил. Мне разрешили. Это было час тому назад! И вдруг я появился с грозой, с молниями, с призраком! Дерзкий! Неукротимый!

– Нельзя обижать ребенка, – сказал студенту Уточкин, заикаясь и морщась. – Зачем вы обидели ребенка? Будьте добры, отдайте ему передачу.

А кончается тем, что автомобиль отпрыгивает от дачи, и студент Орлов кричит вслед улетающей буре:

– Свинья! Шарлатан! Сумасшедший!

Это рассказ о далеком прошлом.

Мечтой моей было: иметь велосипед. Ну вот, теперь я стал взрослым. И вот, взрослый, я говорю себе, гимназисту:

– Ну что ж, требуй теперь. Теперь я могу отомстить за себя. Высказывай заветные желания.

И никто не отвечает мне.

Тогда я опять говорю:

– Посмотри на меня, так недалеко удалился я от тебя – и уже, смотри: я набряк, переполнился... Ты был ровесником века. Помнишь? Блерио перелетел через Ла-Манш? Теперь я отстал, смотри, как я отстал, я семеню – толстяк на коротких ножках... Смотри, как мне трудно бежать, но я бегу, хоть задыхаюсь, хоть вязнут ноги, – бегу за гремящей бурей века!

ВИШНЕВАЯ КОСТОЧКА

В воскресенье я побывал на даче в гостях у Наташи. Кроме меня, было еще трое гостей: две девушки и Борис Михайлович. Девушки с Наташиным братом Эрастом отправились на реку кататься в лодке. Мы, то есть Наташа, Борис Михайлович и я, пошли в лес. В лесу мы расположились на полянке; она была ярко освещена солнцем. Наташа подняла лицо, и вдруг ее лицо показалось мне сияющим фарфоровым блюдцем.

Со мной Наташа обращается как с равным, а с Борисом Михайловичем – как со старшим, ластится к нему. Она понимает, что это мне неприятно, что я завидую Борису Михайловичу, и поэтому она часто берет меня за руку и, что ни скажет, тотчас же обращается ко мне с вопросом:

– Правда, Федя?

То есть как бы просит у меня прощения, но не прямо, а как-то по боковой линии.

Стали говорить о птицах, потому что из чащи раздался смешной голос птицы. Я сказал, что никогда в жизни не видел, например, дрозда, и спросил: каков он собой – дрозд?

Из чащи вылетела птица. Она пролетела над полянкой и села на торчащую ветку неподалеку от наших голов. Она не сидела, впрочем, а стояла на качающейся ветке. Она моргала. И я подумал, как некрасивы у птиц глаза – безбровые, но с сильно выраженными веками.

– Что это? – спросил я шепотом. – Дрозд? Это дрозд?

Никто не отвечает мне. Я повернут к ним спиной. Мой жадный взгляд не следит за ними, они наслаждаются одиночеством. Я смотрю на птицу. Оглянувшись, я вижу: Борис Михайлович гладит Наташу по щеке. Его рука думает: пусть он смотрит на птицу, обиженный молодой человек! Уже я не вижу птицы, я прислушиваюсь: я слышу расклеивающийся звук поцелуя. Я не оглядываюсь, но они пойманы: они видят, что я вздрогнул.

– Это дрозд? – спрашиваю я.

Птицы уже нет. Она улетела вверх, сквозь крону дерева. Этот полет затруднен, – она летит, чиркая листьями.

Наташа угощала нас вишнями. Одну косточку, по детской привычке, я оставил во рту. Она каталась во рту и была обсосана дочиста. Я вынул ее, – она имела вид деревянной.

Я ушел с дачи с вишневой косточкой во рту.

Я путешествую по невидимой стране.

Вот я иду – возвращаюсь с дачи в город. Солнце заходит, я иду на восток. Я совершаю двойной путь. Один мой путь доступен наблюдению всех: встречный видит человека, идущего по пустынной зеленеющей местности. Но что происходит с этим мирно идущим человеком? Он видит впереди себя свою тень. Тень движется по земле, далеко протянувшись; у нее длинные бледные ноги. Я пересекаю пустырь, тень поднимается по кирпичной стене и вдруг теряет голову. Этого встречный не видит, это вижу только я один. Я вступаю в коридор, образовавшийся между двумя корпусами. Коридор бесконечно высок, наполнен тенью. Здесь почва гниловата, податлива, как в огороде. Навстречу, вдоль стены, заранее сторонясь, бежит одичалая собака. Мы разминулись. Я оглядываюсь. Порог, оставшийся позади, сияет. Там, на пороге, собаку мгновенно охватывает протуберанец. Затем она выбегает на пустырь, и лишь теперь я получаю возможность определить ее цвет – рыжий.

Все это происходит в невидимой стране, потому что в стране, доступной нормальному зрению, происходит иное: просто путник встречает собаку, заходит солнце, зеленеет пустырь...

Невидимая страна – это страна внимания и воображения. Не одинок путник! Две сестры идут по бокам и ведут путника за руки. Одну сестру зовут Внимание, другую – Воображение.

Так, значит, что же? Так, значит, наперекор всем, наперекор порядку и обществу, я создаю мир, который не подчиняется никаким законам, кроме призрачных законов моего собственного ощущения? Что же это значит? Есть два мира: старый и новый, – а это что за мир? Мир третий? Есть два пути; а это что за третий путь?

Наташа назначает мне свидание и сама не приходит.

Я прихожу за полчаса до срока.

Трамвайные часы висят над перекрестком. Они напоминают бочонок – не правда ли? Два циферблата. Два днища. О, пустая бочка времени!..

Наташа должна прийти в три с половиной.

Я жду. О, конечно, не придет. Десять минут четвертого.

Я стою на трамвайной остановке. Все движется вокруг меня, я один возвышаюсь... Заблудившиеся видят меня издали. И вот начинается... Подходит неизвестная гражданка.

– Будьте любезны, – говорит неизвестная гражданка, – на двадцать седьмом я доеду до Кудринской?

Никто не должен знать, что я жду свидания. Пусть лучше думают так: «Широко улыбающийся молодой человек вышел на угол устраивать чужое благополучие, он все расскажет, он направит, он успокоит... К нему! К нему!»

– Да, – отвечаю я, изнемогая от утчивости. – Вы доедете на двадцать седьмом до Кудринской...

И тут же спохватываюсь и весь как-то кидаюсь за гражданкой:

– Ах, нет! Ах, нет! Вам надо сесть на шестнадцатый.

Забудем о свидании. Я не влюбленный. Я добрый гений улицы. Ко мне! Ко мне!

Четверть четвертого. Стрелки соединились и вытянулись по горизонтали. Видя это, я думаю:

«Это муха сучит лапками. Беспокойная муха времени».

Глупо! И какая там муха времени!

Она не идет, она не придет.

И приближается красноармеец.

– Скажите, – спрашивает он, – где здесь музей Дарвина?

– Не знаю... кажется, туда... Позвольте... позвольте... нет, не знаю, товарищ, не знаю...

Дальше! Кто следующий? Не стесняйтесь...

Такси, описав вираж, подкатывает ко мне. Вы посмотрите, как презирает меня шофер! Не силами души, нет! Станет он снисходить до того, чтобы презирать меня силами души... Перчаткой он презирает меня!!! Товарищ шофер, поверьте мне, я ведь любитель, я и не знаю, куда повертывать вам машину...

Я стою здесь не затем, чтобы указывать направление... У меня свое дело... Это стояние мое – вынужденное, жалкое! Я улыбаюсь не от добродушия, – я улыбаюсь напряженно... присмотритесь!

– Куда на Варсонофьевский? – спрашивает шофер через плечо.

И я, суетясь, объясняю: туда, туда, а потом туда...

Что ж, если на то пошло, то почему бы мне не стать посреди мостовой и всерьез не взяться за дело, которое мне навязывают?

Идет слепец.

О, этот просто кричит на меня! Этот толкает меня тростью...

– Десятый номер идет? – спрашивает он. – А? Десятый?

– Нет, – отвечаю я, почти глядя его. – Нет, товарищ, это не десятый номер. Это второй.

А вот подходит десятый.

Уже десять минут прошли сверх срока. Чего ждать еще? А может быть, она спешит где-то, летит?

«Ах, опоздала, ах, опоздала!!!»

Уже гражданка укатила на шестнадцатом, уже красноармеец ходит по прохладным залам музея, уже шофер трубит на Варсонофьевском, уже слепец обидчиво и себялюбиво поднимается на переднюю площадку, неся впереди себя трость.

Все удовлетворены! Все счастливы!

А я стою, бессмысленно улыбаясь.

И вновь подходят и вопрошают: старушка, пьяный, группа детей с флагом. И уже начинаю я рубить воздух руками, – уже не просто киваю подбородком, как случайно спрошенный прохожий, нет! – уже я вытягиваю руку, поставив ладонь ребром... Еще минута – вырастет из кулака моего жезл...

– Назад! – буду кричать я. – Стоп! На Варсонофьевский? Заворачивай! Старушка, направо! Стоп!

О, смотрите! Свисток висит между моих губ... Я свищу... Я имею право свистеть... Дети, завидуйте мне! Назад! Ого... смотрите: уже я могу стоять между двумя встречными вагонами, – я стою, смотрите, выставив одну ногу и сложив руки за спиной и подпирая лопатку пунцовым жезлом.

Поздравьте меня, Наташа. Я превратился в милиционера...

Тут я вижу: Авель стоит поодаль и наблюдает за мной. (Авель – это мой сосед.)

Наташа не придет – это ясно. Я подзываю Авеля.

Я. Вы видели, Авель?

Авель. Я видел. Вы сумасшедший.

Я. Вы видели, Авель? Я превратился в милиционера.

Пауза. Еще один взгляд в сторону часов.

Куда там! Без десяти четыре.

Авель. Ваша невидимая страна – это идеалистический бред.

Я. И знаете, что самое удивительное, Авель? Удивительно, что в этой волшебной стране я почему-то фигурирую милиционером... Кажется бы, я должен шествовать по ней спокойно и величественно, как владетель, и цветущий посох мудреца должен сиять в моей руке... А вот смотрите: в руке моей милицейский жезл! Какое странное скрещение мира практического и воображаемого.

Авель молчит.

И еще более странно, что предпосылка, превращающая меня в милиционера, – неразделенная любовь.

Авель. Я ничего не понимаю. Это какое-то бергсонианство.

Я решил закопать косточку в землю.

Я выбрал местечко и закопал.

«Здесь, – подумал я, – вырастет вишневое дерево, посаженное мною в честь любви моей к Наташе. Может быть, когда-нибудь, через пять лет, весной, мы встретимся с Наташей у нового дерева. Мы станем по обе стороны, – вишневые деревья не высоки: можно, поднявшись на носки, шевельнуть самый верхний цветок. Будет ярко светить солнце, весна еще будет пустовата, – это будут те дни весны, когда детей манят сточные канавы, – и уже наступит расцвет бумажного этого дерева».

Я скажу:

– Наташа, ярок и светел день, дует ветер, еще более раздувающий свет дня. Ветер качает мое дерево, и оно скрипит лакированными частями. Каждый цветок его встает и снова ложится, и оттого оно становится то розовым, то белым. Это калейдоскоп весны, Наташа. Пять лет тому назад вы угостили меня вишнями, помните? Неразделенная любовь делает память нищей и яркой. Я помню до сих пор: ваша ладонь была лиловой от вишневого сока, и вы свернули ее трубкой, ссыпая мне ягоды. Я унес косточку во рту. Я посадил дерево в память о том, что вы меня не любили. Оно цветет. Вот видите: я был осмеян тогда; мужественен был Борис Михайлович, победивший вас, я был мечтателен, инфантилен. Я искал в мире дрозда, пока вы целовались. Я был романтик. Но вот смотрите: твердое, мужественное дерево выросло из зерна романтика. Вы знаете: вишневый цвет – это душа мужчины, так считают японцы. Смотрите: стоит низкорослое крепкое японское дерево. Поверьте, Наташа, романтика – мужественная вещь, и над ней не стоит смеяться... Ведь все дело в том, как подойти. Если бы Борис Михайлович застиг меня сидящим на корточках в пустыре и закапывающим инфантильную косточку, он еще раз почувствовал бы свою победу надо мной – победу мужчины над мечтателем. А я ведь в это время прятал в землю ядро. Оно лопнуло и выпустило ослепительный заряд. Я прятал в земле семя. Это дерево – мой ребенок от вас, Наташа. Приведите сына, которого вам сделал Борис Михайлович. Я посмотрю, так ли он здоров, чист и безотносителен, как это дерево, родившееся от инфантильного субъекта?

Я вернулся с дачи домой. Тотчас же из-за стены вышел Авель. Он профработник. Он мал ростом, на нем толстовка из бумажного коверкота, сандалии, синие носки. Он выбрит, но щеки у него черны. Авель всегда кажется обросшим. Даже можно подумать, что у него не две, а только одна щека – черная. У Авеля орлиный нос и одна черная щека.

Авель. Что с вами происходит? Я ехал сегодня в дачном поезде и видел, как вы сидели на корточках в полосе отчуждения и руками разгребали землю. В чем дело?

Я молчу.

(Гуляет по комнате.) Человек сидит на корточках и роется в земле. Что он делает? Неизвестно. Он проводит опыт? Или у него припадок? Неизвестно. Разве у вас бывают припадки?

Я (после паузы). Знаете, о чем я думал, Авель? Я думал о том, что мечтатели не должны производить детей. Зачем новому миру дети мечтателей? Пусть мечтатели производят для нового мира деревья.

Авель. Это не предусмотрено планом.

Страна внимания начинается у изголовья, на стуле, который, раздеваясь перед отходом ко сну, вы придвинули к своей кровати. Вы просыпаетесь ранним утром, дом еще спит, комната наполнена солнцем. Тишина. Не шевелитесь, чтобы не нарушить неподвижности освещения. На стуле лежат носки. Они коричневые. Но – в неподвижности и яркости освещения – вдруг замечаете вы в коричневой ткани отдельные, выщипанные по воздуху разноцветные шерстинки: пунцовую, голубую, оранжевую.

Воскресное утро. Я вновь иду по знакомому пути в гости к Наташе. Нужно написать «Путешествие по невидимой стране». Если угодно, вот глава из «Путешествия», которую следует озаглавить:

«Человек, поторопившийся бросить камень».

Росли под кирпичной стеной кусты. Я пошел вдоль кустов по тропинке. Я увидел в стене нишу и захотел бросить в нишу камешек. Я нагнулся, камень лежал у ног... Тут я увидел муравейник.

Лет двадцать тому назад я видел муравейник в последний раз. О, конечно, не раз в течение двадцати этих лет случалось мне шагать по муравейникам, – мало ли раз? И, наверное, я видел их, но, увидев, не думал: «Иду по муравейникам», а просто в сознании выделялось лишь слово «муравейник» – и все. Живой образ мгновенно выталкивался услужливо подвернувшимся термином.

О, я вспомнил: муравейники обнаруживаются взглядами внезапно. Один... О! Потом другой! Потом – смотрите! смотрите! – еще один! Так произошло и теперь. Один за другим появились три муравейника.

С высоты моего роста муравьев я не мог видеть; зрение улавливало лишь некое беспокойство форм, которые с успехом можно было счесть неподвижными. И зрение охотно поддавалось обману: я смотрел и согласен был думать, что это не муравьи во множестве снуют вокруг муравейников, а сами муравейники осыпаются, как дюны.

С камнем в руке стоял я шагах в четырех от стены. Камень должен был остановиться в нише. Я размахнулся. Камень улетел и ударился в кирпич. Взвилась струйка пыли. Я не попал.

Камень упал к подножию стены, в кусты. Тогда лишь услышал я возглас камня, раздавшийся в ладони моей еще до того, как ладонь разжалась.

– Подожди! – крикнул камень. – Посмотри на меня!

И действительно, я вспомнил. Нужно было подвергнуть камень осмотру. Ведь, без сомнения же, он представлял собой замечательную вещь. И вот он в кустах, в зарослях – исчез! И я, державший в руке вещь, не знаю даже, какого она была цвета. А камень, возможно, был лиловат; возможно, не монолитен, а состоял из нескольких тел: какая-нибудь окаменелость, возможно, была заключена в нем – останки жука или вишневая косточка; возможно, был камень порист, и, наконец, может, вовсе не камень поднял я с земли, а позелевшую кость!

Я встретил по дороге экскурсию.

Двадцать человек шли по пустырю, в котором покоилась косточка. Их вел Авель. Я отошел в сторонку. Авель не увидел меня, верней – не понял: он увидел меня, но не воспринял; как всякий фанатик, он поглотил меня, не дожидаясь согласия или сопротивления.

Авель отделился от паствы, повернулся к ней лицом (ко мне спиной) и воскликнул, мощно размахнув рукой:

– Вот здесь! Вот здесь! Вот здесь!

Пауза. Молчание.

– Товарищи из Курска! – кричит Авель. – Я надеюсь, что у вас есть воображение. Воображайте, не бойтесь!!!

О! Авель пытается вторгнуться в страну воображения. Уж не хочет ли он показать экскурсантам вишневое дерево, цветущее в честь неразделенной любви?

Авель ищет путей в невидимую страну...

Он шагает. Он остановился, взмахнув ногой. Он взмахнул еще раз. И еще. Он хочет освободиться от какого-то мелкокудрявого растения, которое, пока он шагал, обвилось вокруг его ступни.

Он топнул ногой, оно хрустнуло, покатались желтые шарики. (Сколько растений в этом рассказе, деревьев, кустов!)

– Вот здесь будет возвышаться гигант, о котором я говорил вам.

...Дорогая Наташа, я упустил из виду главное: план. Существует План. Я действовал, не спросившись Плана. Через пять лет на том месте, где нынче пустота, канава, бесполезные стены, будет воздвигнут бетонный гигант. Сестра моя – Воображение – опрометчивая особа.

Весной начнут класть фундамент – и куда денется глупая моя косточка! Да, там, в невидимой стране, зацветет некогда дерево, посвященное вам...

Экскурсанты придут к бетонному гиганту.

Они не увидят вашего дерева. Неужели нельзя сделать невидимую страну – видимой?..

Письмо это – воображаемое. Я не писал его. Я мог бы написать его, если бы Авель не сказал того, что он сказал.

– Корпус этот будет расположен полукругом, – сказал Авель. – Вся внутренность полукруга будет заполнена садом. У вас есть воображение?

– Есть, – сказал я. – Я вижу, Авель. Я вижу ясно. Здесь будет сад. И на том месте, где стоите вы, будет расти вишневое дерево.

1929

ЛИОМПА

Мальчик Александр строгал на кухне планки. Порезы на пальцах у него покрывались золотистыми съедобными корками.

Кухня выходила во двор; была весна, двери не закрывались, у порога росла трава, блестя пролитая на камень вода. В сорном ящике появлялась крыса. В кухне жарили мелко нарезанную картошку. Зажигали примус. Жизнь примуса начиналась пышно: факелом до потолка. Умирал он кротким синим огоньком. В кипятке прыгали яйца. Один жилец варил раков. Живого рака брал он двумя пальцами за талию. Раки были зеленоватого, водопроводного цвета. Из крана вылетали вдруг сами по себе две-три капельки. Кран тихо сморкался. Потом наверху заговаривали несколькими голосами трубы. Тогда сразу определялись сумерки. Один лишь стакан продолжал сиять на подоконнике. Он получал сквозь калитку последние лучи солнца. Кран разговаривал. Вокруг плиты начиналось разнохарактерное шевеление и потрескивание.

Сумерки были прекрасны. Люди ели подсолнухи, раздавалось пение, комнатный желтый свет падал на тротуар, ярко озарялась съестная лавка.

В комнате, по соседству с кухней, лежал тяжело больной Пономарев. Он лежал в комнате один, горела свеча, флакон с лекарством стоял над головой, от флакона тянулся рецепт.

Когда приходили к Пономареву знакомые, он говорил:

– Поздравьте меня, я умираю.

К вечеру у него начинался бред. Флакон смотрел на него. Рецепт тянулся, как шлейф. Флакон был бракосочетающейся герцогиней. Флакон назывался «тезоименитство». Больной бредил. Он хотел писать трактат. Он разговаривал с одеялом.

– Ну, как тебе не стыдно?.. – шептал он.

Одеяло сидело рядом, ложилось рядом, уходило, сообщало новости.

Больного окружали немногие вещи: лекарство, ложка, свет, обои. Остальные вещи ушли. Когда он понял, что тяжело заболел и умирает, то понял он также, как велик и разнообразен мир вещей и как мало их осталось в его власти. С каждым днем количество вещей уменьшалось. Такая близкая вещь, как железнодорожный билет, уже стала для него невозвратно далекой. Сперва количество вещей уменьшалось по периферии, далеко от него; затем уменьшение стало приближаться все скорее к центру, к нему, к сердцу – во двор, в дом, в коридор, в комнату.

Сперва исчезновение вещей не вызывало в больном тоски.

Исчезли страны, Америка, возможность быть красивым или богатым, семья (он был холост)... К исчезновению этих вещей болезнь не имела никакого отношения: они ускользали по мере того, как он старел, – а настоящая боль пришла тогда, когда ему стало ясно, что и те вещи, которые постоянно двигались вровень с ним, также начинают удаляться от него. Так, в один день покинули его улица, служба, почта, лошади. И тут стремительно пошло исчезновение рядом, под боком: уже ускользнул из власти его коридор, и в самой комнате, на глазах у него, прекратилось значение пальто, дверной задвижки, башмаков. Он знал: смерть по дороге к нему уничтожает вещи. Из всего огромного и праздного их количества смерть оставила ему только несколько, и это были те вещи, которых он никогда бы, если бы это было в его власти, не допустил в свое хозяйство. Он получил подсов. Он получил страшные посещения и взгляды знакомых. Он понял, что не в силах защищаться против вторжения этих непрошенных и ненужных, как ему всегда казалось, вещей. Но теперь они были единственными и непреложными. Он потерял право выбирать вещи.

Мальчик Александр делал летающую модель.

Мальчик был гораздо сложнее и серьезнее, чем думали о нем остальные. Он резал пальцы, истекал кровью, сорил стружками, пачкал клеем, выпрашивал шелк, плакал, получал подзатыльники. Взрослые признавали себя абсолютно правыми. А между тем мальчик действовал совершенно по-взрослому, больше того, – он действовал так, как может действовать только некоторое количество взрослых: он действовал в полном согласии с наукой. Модель строилась по чертежу, производились вычисления, – мальчик знал законы. Он мог бы противопоставить нападкам взрослых объяснение законов, демонстрацию опытов, но он молчал, потому что не считал себя вправе показаться более серьезным, чем взрослые.

Вокруг мальчика располагались резиновые жгуты, проволока, планки, шелк, легкая чайная ткань шелка, запах клея. Сверкало небо. Насекомые ходили по камню. В камне окаменела ракушка.

К работающему мальчику подходил другой мальчик, совсем маленький, голый, в синих трусах. Он трогал вещи и мешал. Александр гнал его. Голый резиновый мальчик ходил по дому, по коридору, где стоял велосипед. (Велосипед педалью был прислонен к стене. На обоях педаль провела царапину. На этой царапине как бы и держался велосипед у стены.)

Маленький мальчик приходил к Пономареву. Голова малыша маячила над бортом кровати. У больного виски были бледные, как у слепого. Мальчик подходил вплотную к голове и рассматривал. Он думал, что в мире всегда было и бывает так: бородатый человек лежит в комнате на кровати. Мальчик только вступил в познание вещей. Он не умел еще различать разницу во времени их существования.

Он повернулся и стал ходить по комнате. Он видел паркетные плитки, пыль под плинтусом, трещины на штукатурке. Вокруг него слагались и распределялись линии, жили тела. Получался вдруг световой фокус, – мальчик спешил к нему, но едва успевал сделать шаг, как перемена расстояния уничтожала фокус, – и мальчик оглядывался, смотрел вверх и вниз, смотрел за печку, искал – и растерянно разводил руками, не находя. Каждая секунда создавала ему новую вещь. Удивителен был паук. Паук улетел при одной мысли мальчика потрогать паука рукой.

Уходящие вещи оставляли умирающему только свои имена.

В мире было яблоко. Оно блистало в листе, легонько вращалось, схватывало и поворачивало с собой куски дня, голубизну сада, переплет окна. Закон притяжения поджидал его под деревом, на черной земле, на кочках. Бисерные муравьи бегали среди кочек. В саду сидел Ньютон. В яблоке таилось множество причин, могущих вызвать еще большее множество следствий. Но ни одна из этих причин не предназначалась для Пономарева. Яблоко стало для него абстракцией. И то, что плоть вещи исчезала от него, а абстракция оставалась, – было для него мучительно.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.